

НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ПРОФЕССОРА ЗВОРЫКИ

ПОВЕСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КУБУЧ“  
ЛЕНИНГРАД — 1926





НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ПРОФЕССОРА ЗВОРЫКИ

ПОВЕСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КУБУЧ“  
ЛЕНИНГРАД — 1926

Ленинградской Гублит № 1250. Зак. № 2312. Тираж 6.000 экз. 12½ п. л.  
Типо-лит. „Красный Четатник“ Гостехиздата. Ленинград. Международный, 75.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

### Профес sor Зворыка.

— Кто там?

— Дома профес sor Зворыка?

Звякнула цепочка, дверь открылась, и на порог вышла толстая старуха в дырявом вязаном платке:

— Дома, дома, где ему шляться. Может и дома посидеть. — заговорила она, сложив руки на животе. — Заходите, а то вы мне всю кухню оставите.

Я вошел, остановился посреди кухни и снял шапку. Сердце билось так сильно, что я с трудом переводил дыхание.



— Да что ж вы стали? — продолжала старуха. — Прямо по коридору, вторая дверь налево.

Я сделал несколько шагов по темному узкому коридору и нерешительно остановился перед запертой дверью. Из-за двери доносился мягкий низкий мужской голос.

— Кушайте, милые мои! — говорил он. — Насыщайтесь, толстопузенькие. Наедайтесь, мои таракашечки. Что же ты, дурак, мыла не ешь? Тебе все свечки подавай, а мыла не хочешь? Поешь мыльца, миленочек, свечей на тебя не напасешься.

Я робко постучал в дверь.

— Кто там? Что вам нужно? — недовольно спросил меня голос.

— Можно видеть профессора Зворыку?

— Войдите.

Я отворил дверь. И, ошеломленный, замер на пороге. На огромном стуле, перед гигантским письменным столом, спиной ко мне сидел человек совершенно необычайной ширины. В плечах он имел не меньше аршина и значительно расширялся книзу. На бычьем туловище без всякой шеи сидела двухпудовая круглая голова, покрытая золотыми выющиеся волосами. И вот, эта гора задвигалась. С грохотом отодвинулся стул, гигант выпрямился во весь рост и повернулся ко мне лицом. Я чувствовал себя так, будто меня прижали к полу всей этой грузной массой. Его золотоволосая голова, как купол собора, уходила в вышину. Еще полтора фута, — и он коснулся бы макушкой потолка. Мягкие, отвислые щеки покоились на широком отлогом воротничке рубашки. Под воротником простирался вширь и вниз необозримый пиджак, бурый, с рыжими пятнами, похожий на карту какой-то горной страны. А под пиджаком начиналась

обширная область брюк—черных, в белую полоску, широких и мягких. И, наконец, уже совсем внизу, пара рыжих широконосых ботинок, твердо упиравшихся в пол, больше похожих на дредноуты, чем на ботинки.

Я, верно, казался ему маленьким, щуплым и жалким. Он раздраженно рассматривал меня сверху крошечными светло-серыми глазками.

— Что вам нужно?—спросил он меня, наконец.

— Я... видите ли, мне, собственно, нужно, необходимо повидать профессора Зворыку. Если...

— Я и есть Зворыка. Зачем я вам нужен?

— Я хотел бы посоветоваться с вами,—начал я, совершенно подавленный его тоном и внешностью,— насчет одной бумажки, вернее, насчет одного дневника...

— Насчет какой бумажки?

— Да вот насчет самой обыкновенной бумажки, насчет той бумажки, в которую мне завернули сосиски в колбасной...

Я обливался потом.

— Позвольте, молодой человек,—заговорил он, недоуменно разводя в воздухе огромными мягкими ладонями,—да вы не туда попали. Я не колбасник, а профессор геологии.

— Эта бумажка имеет прямое отношение к геологии. В ней даже упоминается ваше имя. Там находится чрезвычайно важное сообщение...

— Да, ведь, вы говорите, что это простая оберточная бумага...

— Конечно. Вы совершенно правы. Мне завернули в нее сосиски. Она до сих пор пахнет этими погаными сосисками. Но эта бумажка—отрывок из дневника, из чьих-то записок. В ней...

— Молодой человек, я сейчас занят. У меня нет времени заниматься вашими сосисками. Приходите ко мне в четверг на будущей неделе.

— О, профессор! — закричал я, — тогда все погибнет! Он...

Должно быть, он заметил, как я побледнел. Он поднял меня, как цыпленка, и с неуклюжей заботливостью посадил на стул.

— Хотите воды? Да не беспокойтесь, мы поговорим с вами, о чем вы пожелаете. Еще успеем. Вы, может быть, хотите есть? Когда вы с'ели эти сосиски? О, я знаю, что вы совершенно здоровы. Вам просто надо немного отдохнуть. Посмотрите сюда, — и он, ласково улыбаясь, широким жестом показал на свой письменный стол.

На столе находилось только три предмета: бронзовая чернильница, величиной с ведро, вставочка, напоминающая топорище, и маленькая проволочная клетка. Собственно, только эта клетка и привлекла мое внимание, потому что все остальные предметы были столь однообразно велики, что глаз привыкал к ним. Я невольно пододвинул ее к себе.

В ней сидело два чистеньких белых мышонка с длинными хвостами и крошечными черными глазками. Они грызли тщательно нарезанные ломтики мыла.

— Вам они нравятся? — спросил меня Зворыка. — Это чудные мыши. Вот этого зовут Тарас, а вот ту — Гретхен. Тарас наглый и обжорливый. Все лопает, что ему ни дашь. А Гретхен разборчива, как настоящая барышня.

Он открыл дверцу клетки. Мыши продолжали грызть мыло, не обращая на нас никакого внимания.

— Выходите, голубчики, выходите, мои таракашечки, — забормотал профессор.

Мыши в упор взглянули на него — Тарас бойко, а Гретхен застенчиво.

— Не бойтесь, цыпочки, не бойтесь, миленочки, — продолжал профессор. Тарас подошел к дверце и нерешительно оглянулся по сторонам.

— Что ж вы ждете? Гулять, гулять идите.

Тарас перешагнул через порог клетки, вышел на стол и остановился. Гретхен медлила перед порогом.

Профессор тихо засвистел. Мышенок сделал еще несколько шагов по столу.

— Уа! уа! — не своим голосом завизжал профессор, вскочил на ноги и кинулся прочь от стола.

Как две белые молнии, мыши соскочили со стола и бросились за ним вдогонку. Зворыка, похожий на гигантский волчек, вертелся посреди комнаты. Мыши вскарабкались ему на плечи, с плеч на голову, бегали, прыгали, скакали по его огромному телу. Он хохотал с диким грохотом, лопотча какие-то бессмысленные слова. Это продолжалось минут пять. Наконец, он остановился, вытер со лба пот, посадил мышей на свою просторную ладонь и, запыхавшийся, улыбающийся, сел на свой стул.

— Они меня совсем замучили, — сказал он, отдохнувшись. — Это самые непоседливые мыши в мире.

— Простите, профессор, — заговорил я, — мне все же хотелось показать вам эту бумажку.

— Ах, да, бумажку, имеющую прямое отношение к геологии. В нее вам завернули сосиски. Слушайте, покажите мне ее завтра. Геология мне осточертела, ведь, я уже тридцать лет занимаюсь этой проклятой наукой, да и у вас усталый вид. Вот если бы в нее до сих пор были завернуты сосиски... Я безумно люблю сосиски! Давайте, купим сосисок! Авось, их на этот раз завернут в какую-нибудь более забавную бумагу.

— Профессор, считайте меня безумцем, сбежавшим из сумасшедшего дома, но прочтите эту бумажку! — закричал я.—Умоляю вас...

На этот раз моя взволнованность подействовала на Зворыку.

— Если это так спешно... я готов... — пробормотал он.

Я протянул ему помятый, засаленный лист бумаги, исписанный мелким прыгающим почерком. Это был не имеющий ни начала, ни конца отрывок из записок, «бивчих и взбалмошных». Профессор брезгливо взял двумя пальцами лист, нанял на нос очки и стал медленно, с трудом разбирая почерк, читать вслух:

— „...а отец мой был парикмахером в Екатеринодаре. Его считали хорошим мастером, брил он чисто и быстро. Человек он был тихий, скромный, все спрашивал клиентов: „не беспокоите-с?“ Но раз в год непременно выпивал и тогда престранным образом издевался над клиентами. Выбреет одну щеку и уйдет. А те пришел к нему раз один генерал—старичек с густыми усами и бровями, но совсем лысый. Только на макушке три белых волоска торчат. Отец мой бреет его и все на волоски смотрит. Да вдруг как хватит один волосок—чик!—и вырвал. „Ай, что это ты?“ —спрашивает генерал. А он—„ничего“. — говорит, „ваше высоконравственное, ничего, сидите смирио“. А сам через минуту—чик!—и второй волосок вырвал. Этот, верно, крепче сидел, потому что генерал подскочил даже и кровью налился. „Что это ты, болван, делаешь?“ —кричит. А отец:—„ничего, не извольте беспокоиться“, —и дальше бреет. Подождал, подождал, да хвать за последний волос. Тут генерал рассвирепел, вскочил, и как был в мыле, на середину парикмахерской выскочил. „Да ты крамольник!“ —кри-

чит,— „да ты власть ниспровергнуть хочешь, да я тебя в Сибирь упеку!“ — „Да нет, что вы, я ничего.“ — говорит отец, а сам волоски на свет рассматривает. Насилу мать моя тогда генерала уговорила.

„Из-за таких выходок отец не раз оставался без работы.

„Несмотря на это, все его считали хорошим мастером и уважали. Хотел он, чтобы и из меня вышел парикмахер. Да, много часов провел я с бритвой в руке, много сбривал я бород и усов. Но я был рожден не для такой работы. Что могут дать гению бритва и мыло? Душа моя рвалась на волю, жаждала применения своим титаническим силам. Ах, о чём только не мечтал я тогда! Бывало, намылю чью-нибудь жесткую щеку, засмотрюсь в окно на торговок с яблоками и думаю: „бедные, вы и не знаете, что на вас смотрит будущий повелитель вселенной“. А мыло на щеке стынет. „Делай свое дело, Анполлон“, — говорит мне отец. Я вздрагиваю и принимаюсь за бритву:

„Но миру нужны средние, ничем не замечательные люди. Гениям нечего делать на земле. Много великих замыслов было у меня, но все они гибли по вине людей. Моя последняя затея—организовать тихоокеанских пиратов—мне не удалась. Напрасно я потратил двадцать лет жизни. Властвовать над людьми в наше время можно только с их позволения. А позволяют они неохотно.

„Вы не хотите меня? Отлично. Но я тоже не хочу вас! Мне суждено умереть, но вы умрете вместе со мной. Ни один из вас, люди, не переживет меня ни на секунду. Влезайте на высочайшие горы, прячьтесь в темных подземельях—и это не спасет вас.

„Эта идея пришла мне в голову, когда я познакомился с последними открытиями профессора Зворыки.

Щепотка динамита — все, что требуется для исполнения моих планов.

„С 30 апреля 192... года Земля будет сиять собственным, а не отраженным светом. Да, Аполлон, тебе все же суждено сделать кое-что в этом мире“...

Чем дольше читал профессор, тем серьезнее он становился. Глаза озабоченно расширились. Он волновался. Кончив читать, он медленно положил бумагу на стол и внимательно посмотрел мне в лицо.

— Вы знаете, кто это написал?

— Нет, — ответил я, — то-есть...

— Скажите мне прямо: вы знаете, кто это написал?

Я молчал.

— Ну?

— Думаю, что знаю.

— И я знаю, — проговорил он.

Минуты две он напряженно думал. Огромный лоб прорезала глубокая морщина, пущая от золотых волос к носу. Глаза, устремленные в окно, отразили небо и из серых стали синими.

Затем он решительно подошел к телефону.

— Академия Наук? Зворыка. Попросите к телефону Непременного Секретаря. Да, да. Нужна команда проводка. Да. Во Владивосток. Сегодня, шесть тридцать. Пришлите на вокзал. Экспрессом. Да. Экспедиция. Геологические открытия. Чрезвычайно спешно. Что? Да, геология. Всего хорошего.

Он повесил трубку и повернулся ко мне.

— Назначаю вас помощником и заместителем начальника экспедиции.

И мы отправились на вокзал.



## ГЛАВА ВТОРАЯ.

### Обитатель бочки.

Это было утром того же дня.

Двое рабочих с трудом вкатили в пакгауз большую бочку, последнюю бочку за ночь. Ночная смена кончалась, и, подкатив её к груде других таких же бочек, они сели на неё покурить.

— Ну, и странная бочка,—сказал один из них,— до чего легка! Ни за что не поверил бы, что в ней масло.

— Да, тут не без обмана,—сказал другой.— Пока мы катили ее, в ней все что-то твердое перекатывалось. Надо будет завтра заявить куда следует.

Но вот папиросы докурены, стрелка круглых стенных часов остановилась на восьми, и рабочие вышли, закрыв дверь на замок.

В огромном пакгаузе было пусто. Единственная электрическая лампочка тускло освещала поставленные друг на друга ящики, бочки, сундуки и корзины. Вонзилась полная тишина.

И вдруг тишину нарушил легкий стук. Уж не крыса ли хождит в углу? Нет, крыса не станет стучать так громко и упорно.

Странная бочка, вызвавшая такие подозрения у рабочих, теперь скрипела, гремела и колыхалась. Глухие удары доносились из ее нутра, и при каждом ударе крышка ее вздрогивала. Удары становились все слышнее, и вот, наконец, крышка выскочила и колесом покатилась по полу. А из бочки, как цыпленок из яйца, вынырнул щупленький лысенек человечек.

Он с наслаждением потянулся. Потом растопырил огромные уши, согнул голову на бок и прислушался.

— Никого,—прошептал он и снова потянулся.—Проклятая бочка. Никак в ней удобно не усядешься. А уж как начнут катить—все бока поломают. Лет двадцать тому назад я счел бы путешествие в бочке комфортом. Да, теперь не то. Эх, старость, старость...

Вздыхая, покрякивая и покачивая головой, он подошел к двери. Убедившись, что она заперта, он принялся осматривать стены и потолок пакгауза.

Окон в пакгаузе не было. Здесь день и ночь горело электричество. Стены были непроницаемы. И только под самым потолком, на высоте, равной четвертому этажу, было небольшое отверстие, служившее, должно быть, для вентиляции. Это отверстие сразу привлекло внимание юркого обитателя бочки.

Он содрал с одного из сундуков канат, сделал на его конце петлю и с удивительной силой и ловкостью закинул ее вверх. Петля уцепилась за крюк, ввинченный в середину потолка. Тогда он, как обезьяна, полез по канату и, очутившись в двух сажнях над полом, начал раскачиваться из стороны в сторону. Как исполинский маятник качался он по огромному просторному пакгаузу, с каждым разом взлетая все выше и выше. Фалды его фрака, некогда щеголеватого, но теперь поношенного и грязного, развевались в воздухе, как гигантские черные крылья. С каждым взмахом все ближе отверстие.

Вот он, наконец, долетел до него, уцепился за его край руками и вылез на занесенную снегом крышу.

Рассвет только начинался. Подняв воротник и ежась от холода, он глянул



вниз. Внизу перед запертой дверью стоял сторож. Незнакомец пересек крышу поперек и по водосточной трубе спустился на железнодорожный путь.

Вокзал был в двух шагах, но он обошел его и, поплутав в темных пригородных переулках, вошел в город. Сутулый и маленький, он обходил бледнеющие фонари и шагал все вперед, опасливо оглядываясь по сторонам. С людьми он встречаться избегал и шел закоулками и пустырями. На Васильевский остров он прошел через Николаевский мост. Было уже совсем светло, когда он добрался до Восемнадцатой линии. Наконец, он остановился перед колбасной Иоганна Коха.

В витрине немецкой колбасной Иоганна Коха горела керосиновая лампа, и потому стекло оттаяло широким полукругом. Обитатель бочки долго смотрел на длинные толстые колбасы всех сортов, в строгом порядке лежавшие на огромных белых блюдах. Потом осмотрелся по сторонам и юркнул в звякнувшую колокольцем дверь.

Иоганн Кох, в халате и туфлях, сидел за прилавком и, напялив на нос очки, читал газету. Благодущие сияло в его глазах и теплой волной разливалось по телу. Дела шли не плохо, и он только что выпил две чашки чудного кофе. Все стены его лавки были завешаны разноцветными колбасами, испускавшими приятнейший запах и услаждавшими сердце их владельца. Но запах этот, очевидно, совсем не понравился юркому человечку, потому что, войдя, он поморщил нос и оглушительно чихнул.

Иоганн Кох отложил газету, снял очки и взглянул на вошедшего.

— А! Это ты, Аполлон! Какими судьбами? Вот, право, не ожидал тебя встретить здесь, в Ленинграде. Давно ли ты приехал, надолго ли?

— Я? Аи-чхи... Ах, чорт возьми... аи-чхи! Мне становится дурно от колбасного запаха. Не-вы-по-шу!.. Я здесь проездом. Сегодня приехал и сегодня же уезжаю. У меня до тебя дельце, хе-хе...

— Куда ж ты едешь?

— В Сибирь. Но дело не в том...

— А не знаешь ли ты штабс-капитана Авсеенку?

— Нет. Зачем он мне?

— Как зачем! — закричал немец. — Едешь в Сибирь и не знаешь капитана Авсеенки! О, mein Gott! Да я тебе рекомендательное письмо напишу.

— Да кто же он?

— Он муж моей племянницы Амалии.

— Чем он занимается?

— Он — бандит. Большие дела делает. Милейший человек.

Незнакомец улыбнулся, обнаружив редкие гнилые зубы.

— Бандит — это не плохо. Пригодится, пожалуй. Но письмо — потом. У меня, видишь ли, к тебе дело.

— Да ты, верно, голоден. Какой хочешь: краковской, чайной, полтавской?..

Немец встал, взял нож и приготовился резать колбасу.

— Нет-с. Благодарю покорно. Не употребляю. Ты бы мне кислой капусты или огурчика. Но прежде всего — дело. Где мои дневники?

— Какие дневники?

— То-есть как — какие! — страшно засуетился и заволновался незнакомец. — Ты спрашиваешь — какие дневники? Да мои дневники, дело всей моей жизни, мои записки, которые я оставил тебе, уезжаая из Ленинграда.

— Да ты ничего мне не оставлял.

— Ты, верно, шутишь, Иоганн. Ха-ха-ха, я понимаю, ты шутишь. Но хватит, довольно, не надрывай моего бедного сердца.

— Да о чём ты говоришь? — спросил немец. — Уж не о той ли пачке бумаг, которую я нашел у себя на столе в день твоего отъезда?

— Вот именно. Тащи ее сюда!

— Там еще на первой странице были написаны красными чернилами какие-то слова?

— Да, да. Вот эти слова мне важнее всего. Из-за них я приехал в Ленинград. Они — ключ ко всем моим планам. Давай сюда пачку, милый друг.

Что у тебя за дела в Сибири? — спросил медленный колбасник.

— Взорвать... ах, что я говорю! Я еду в Сибирь продавать головные шпильки, изделия одной варшавской фармы. Отличные шпильки! Превосходные шпильки! Может быть, ты их у меня купишь? Я тебе уступлю по знакомству. Но раньше всего неси мне мои дневники...

— Да помилуй, их нет у меня.

Где же они?

— Я их употребил на завертку колбас. Все эти годы было так трудно с оберточной бумагой...

— О, безумец, о, негодяй, ты погубил плоды моих раздумий! Я тебе отомщу! Вся твоя колбасная, весь город, в котором ты живешь, солнце, которое светит тебе — в моих руках. Я захочу — и все погибнет, помни это. Но мне необходимы слова, написанные на первой странице моего дневника.

— Право, Андоллон, если бы я знал...

— Поневели своими барацкими мозгами, может быть ты вспомнишь их.

— Первое слово: крест... а дальше... дальше... не помню...

-- Нет, ты вспомнишь, ты вспомнишь. Иоганн, подумай только. А! ты не хочешь вспоминать! Ты взялся меня погубить! Не-ет! Я так не уйду. Я тебя заставлю вспомнить!

Он одним прыжком перелетел через стойку и, скав кулаки, остановился перед немцем.

— Я сейчас, сейчас, Аполлон. Первое слово: крест, а второе... что-то коровье, ослиное, собачье...

— Вспомни, или убью! — сквозь зубы прохрипел незнакомец.

При виде занесенных над головой кулаков, к немцу вернулась память.

— Хвост! — выговорил он.

— Хвост! Хорошо. А третье?

— Уволь, голубчик, хватит с тебя и двух... Зачем тебе эти слова?

— Вспомни третье, — был ответ.

— Да как же вспомнить, коли я совершил забыл.

— Нет, ты вспомнишь, ты не хочешь меня погубить. Ах, вот как! Я тебя заставлю!

И он схватил своего друга за горло.

— Тоже часть какого-то животного... Отпусти...

— Не отпущу, пока не вспомнишь.

— Вспомнил! — прохрипел задыхающийся немец.

Незнакомец отпустил его.



— Хобот! — пробормотал тот, жадно глотая воздух. — Фу, какой ты грубый, Аполлон...

С четвертым словом было труднее всего. Ни впечатления, ни побор не помогли. Он помнил, что это какое-то неприятное насекомое, а какое — забыл.

— Пчела, может быть? Скажи, Иоганчик, пчела? — с дрожью в голосе спрашивал незнакомец.

— Нет, не пчела. Разве пчела неприятная? Пчела пользу приносит. Скорее таракан, или клоп... Нет, впрочем, и не таракан...

Незнакомец снова принялся угрожать и буйствовать, но ничего не помогало.

Последнее, пятое слово, он помнил сам. Это слово было: решетка. Но четвертое, предпоследнее, ушло из его памяти бесповоротно. Его душа наполнилась отчаянием, и он стал жаловаться:

— Мне всегда не везло, Иоганн. Я несчастный человек — таким я родился, таким я сойду в могилу. Мне никогда ничего не удается. Все обдумаю, все подготовлю, создам гениальный, грандиозный проект, и вот, проект летит к чорту по вине какого-нибудь маленького паршивого винтика. Таких замыслов, как у меня — не было и не будет. Сначала я думал стать повелителем морей. Потом повелителем суши. Теперь — повелителем жизни и смерти. Но все срывалось по вине непредвиденных пустячков. Эти пустячки всегда представлялись мне в виде пауков. Такой пустячок-паучок, маленький и плугавый, незаметно обматывает меня лишкой паутиной и начинает сосать мою кровь. И сося, растет и толстеет. Из паучка он превращается в паука, из паука в паучище... Что ты смеешься, свиная туша, тебя веселят мои несчастья?

— Нет, Аполлон, я только вспомнил...

— Что?

— Четвертое слово.

— О, говори, Иоганн, не томи меня!..

— Это слово — пак.

— Крест, хвост, хобот, пак, решетка! —  
торжествующе провизжал юркий человечек. — Ура!  
Ключ найден! Теперь я твой властелин, вселенная!  
И я буду жестоким властелином. Трицатого  
апреля...

— Поклонись от меня штабс-капитану Авсеенке! —  
прокричал немец, но незнакомца уже не было в лавке.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

### Аполлон Григорьевич Шмербиус.

В санях я сидел рядом с извозчиком. Все сиденье для ездоков было занято профессором. Он держался прямо, не поворачивая головы, как гигантская тумба. На каждой пуговице его просторной пелерины болтались несколько крошечных пакетиков. В ногах стоял американский кожаный чемодан. Мороз теребил наши щеки, от лошади шел густой пар, и навстречу нам неслись улицы, разделенные пополам солнцем и тенью.

Нет, я уже больше не сомневался, я знал, кто написал эту записку. Если бы ее написал кто-нибудь другой, разве стал бы я беспокоиться? Такую записку мог написать только сумасшедший. Да кто знает, не сумасшедший ли он? Но он сумасшедший, награжденный невероятной силой воли, воловьей настойчивостью, глубоким знанием людей, неиссякаемой верой в свои сумбурные планы. Он сумасшедший, однажды чуть не отравивший десять крупнейших городов мира ядовитыми газами. Он сумасшедший, потопивший у берегов Мадагаскара транспорт с алмазами, равными по цене трети золотого запаса Британской империи. Он сумасшедший, причинивший торговому флоту всех наций больший урон, чем эскадры английская и германская, вместе взятые, во время великой войны. Он сумасшедший, обладающий здравым смыслом, превосходящим мудрость величайших мудрецов и философов.

Да, у меня есть основания опасаться его сумасшедших затей. Он не терпит малых дел, он берется за дела планетарные. И когда Аполлон, сын екатеринославского парикмахера, хочет покончить самоубийством — с ним должна погибнуть вселенная.

Но вот и вокзал. Зворыка расплачивается с извозчиком, как перышко поднимает чемодан, сует трость под-мышку и, увешанный свертками, хлюная гигантскими калошами, бежит на перрон. Я за ним. Нас встречает курьер Академии Наук и сует профессору кучу каких-то удостоверений и бланков. Носильщик приносит нам билет. Мы садимся в вагон, третий звонок, и поезд трогается.

Мимо вагонных окон пролетают оледенелые поля пурпурные от вечернего солнца. Леса неподвижны и мертвы. Заиндевелые березы просвечивают насквозь как кружева, а широкие лапы елей гнутся под снегом. Редко-редко поезд перескакивает на новые рельсы перед маленькими деревянными станциями, паровоз, не останавливаясь, свистит, и снова — равнины, поля, леса...

Но вот зашло солнце, в вагоне зажглись электрические лампочки, и в окне уже ничего нельзя было увидеть. Профессор просматривал какие-то бумаги, беззвучно шевеля толстыми мягкими губами. В этом купе, кроме нас двоих, никого не было. Но в соседнем раздавались голоса, вернее один голос, который говорил уже несколько часов, не умолкая. Это был ведливый мягкий тенорок, время от времени пускающий нетухов, как голос четырнадцатилетнего мальчика.

— Я стал вегетарианцем. — говорил он. — Я не ем мясного. Разве обезьяны едят мясо? А человек, знаете ли, произошел от обезьяны. Да, да! Наш организм не приспособлен к такому количеству мяса. Наш бедный

желудок не в состоянии с ним справиться. От этого люди так рано умирают. Хотите жить тысячу лет — ешьте овощи и фрукты. В растительной пище вполне достаточно жира. Провансское масло делают из маслин. А подсолнечное из подсолнухов. А касторовое... Вы подумайте только, сколько пользы принесла человечеству касторка!

Я взглянул на профессора. Он поднял глаза от бумаг и тоже прислушивался.

— Я презираю людей, пожирающих мясо, — продолжал голос. — Все великие люди пытались одной капустой. Кислой капустой, да, да. Все, кроме Наполеона и Рихарда Вагнера. Но Наполеон умер от язвы в желудке, а Рихард Вагнер — дутая знаменитость. Я тоже обожаю капусту. Мне ненавистны жирные, запытавшие салом обжоры, упивающие ростбифы, бифштексы, колбасы, котлеты, сосиски. Меня тошнит, когда я вижу их туши. У них нет лица: лицо у них сделалось окороком. Ожирелый мозг, ожирелое сердце!

— Позвольте, — зычно закричал вдруг профессор, — позвольте, уверяю вас, что вы ошибаетесь. Вы не знаете ни истории, ни физиологии! Великий Крылов весил двенадцать пудов. Гениальный Рабле был самый толстый человек во всей Франции! Его брюхо имело сто тридцать сантиметров в окружности. Иоркширские поросыта вскормили Фарадея и Дарвина. А на растительной пище вырастают только мозглишки, франтики, фертики, тощие ничтожества, слюнтяи, пустячковые людинки.

— Ну, нет! Ошибаетесь! — закричал невидимый обитатель соседнего купе. — Толстяки сластолюбивы, прожорливы, неспособны ни на какую душевную жизнь. Когда я вижу жирного крестьянина, я говорю: он не собирает урожая. Когда я вижу жирного купца,

я предчувствую — он будет банкротом. Когда я вижу жирного писателя, я говорю — бездарность. Когда я вижу жирного ученого, я знаю — это круглый невежда.

Лицо профессора покрылось багровыми пятнами.

— Щенок! Понрыгун! Бородавка! — не своим голосом закричал он. — Поджарый вертихвост! Таракан!

— Что-с? — взвизгнул его невидимый собеседник. — Как вы изволили выразиться? Да вы — илюшка, боченок с салом, бифштекс на ножках!..

— Убью! — заревел профессор, вскочил на ноги, скжали кулаки и ринулся к соседнему купе.

Но в то же мгновение через отверстие над верхней лежанкой, соединяющее оба купе, прямо ко мне на лавку прыгнул юркий сухопарый человечек в черном сюртуке с разевающимися фальдами. Это и был тот страстный вегетарианец, который так обидел бедного профессора. В отверстии показалась красная физиономия Зворыки. Его враг был недосыпаем. Пролезть в отверстие профессор не мог. Напрасно он протягивал свои гигантские руки. Юркий человечек стоял на одной ножке посреди нашего купе и самым наглым образом подмигивал профессору правым глазом.

— Блоха! — ревел профессор.

— Гиппопотам! — визжал незнакомец.



И вдруг странная идея осенила меня. Неужели это он? Не может быть! Я вскочил и взглянул незнакомцу в лицо.

— Профессор! — закричал я. — знаете ли вы, кто он такой?

— Знаю, — ответил профессор. — Жидконогий целкопер, шустрая тля, пленивший стрекулиста...

— Нет, — сказал я: — он — Аполлон Григорьевич Шмербиус.

Профессор всплеснул ручищами и с таким грохотом опустился на лавку, что задребезжали вагонные стекла.

— — —

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

### Часы.

Шмербиус был далеко не молод. Кожа на его итичьем лице пожелтела, сморщилась и обвисла. Во рту не хватало многих зубов, губы провалились и острый подбородок торчал вперед. Горбатый длинный нос свисал ниже рта. Яйцевидная лысая голова сидела на тощей жилистой шее с большим, необычайно подвижным кадыком. Огромные уши, оттопыренные, как у летучей мыши, беспрестанно шевелились. Одет он был в засаленный старомодный фрак, держался сгорбленно, и огненно-красный галстук на его виалой груди болтался беспомощно и бесприютно. Этот человек сильно поблек и состарился с тех пор, как я его видел последний раз. Одни только красные кроличьи глазки нопрежнему быстро и внимательно перебегали с предмета на предмет.

Целую минуту длилось неловкое молчание. Шмербиус первый прервал его. Он взглянул на меня и улыбнулся.

— Ужасно рад вас видеть, Ипполит, — сказал он. — Какими судьбами? Вы очень выросли и возмужали. Как поживает ваш отец? Куда вы едете? Неужели в Сибирь? Один?

Тут он краем глаза взглянул на профессора.

— Нет, не один. Разрешите вас познакомить. Профессор Зворыка...

Профессор, мрачно потуяясь, неуклюже протянул Шмербиусу свою большую лапу.

— Ужасно рад, чрезвычайно рад, — затащорил Шмербиус. — Я знаком с вашими превосходными трудами. И правда, я не геолог, я музыкант, но всегда следил за геологией. Искусство и наука — родные братья... Меня особенно заинтересовала ваша полемика со сторонниками теории огненноожидного ядра... Я совершенно с вами согласен... Внутри Земного Шара находится твердое ядро, и вулканы связаны с океанами. Вода и огонь — родственные стихии... Простите, я вас, кажется, забеспокоил рассуждениями о вегетарианстве. Ничего, знаете ли, не поделаешь, я человек принципиальный...

— Пожалуйста... — буркнул профессор.

Он не был расположен вступать в разговор, и Шмербиус снова обратился ко мне. Фразы сыпались из него, как горох из мешка.

— Ваш отец умер? Что вы говорите! Ах, какая жалость! Он был моим другом. Какой талантливый, умный, справедливый, честный человек! Смерть, знаете ли, не разбирает. Царствие ему... Впрочем, теперь молодые люди в бога не веруют, хе-хе. Да и я, признаюсь, тоже. Разве передовой человек может признавать религиозные заблуждения? А куда вы едете? Что вы будете там делать? Геологические открытия, а?

Я отвечал уклончиво и довольно невнятно. Профессор стал демонстративно стягивать постель на своей лавке и приготовляться ко сну. Шмербиус понял намек.

— Так устаеть за день, знаете ли, — сказал он. — Пойду спать. Спокойной ночи. Мы еще успеем наговориться, путь нам предстоит не близкий. Всего хоро-

шего, профессор. Всего хорошего, — и, фамильярно похлопав меня по плечу своими костлявыми пальцами, он убежал к себе в купе.

— Какой неприятный человек, — сказал профессор. — Я много слышал о нем, но представлял его себе гораздо величественнее и достойнее. И только подумать, что такой поонрыгун держит в своих руках судьбу человечества! Фи, мерзость какая.

Следующий день прошел тихо и скучновато. Профессор был молчалив и угрюм. Он сидел на конце скамейки и писал в своей записной книжке какие-то цифры, зачеркивал и снова писал. Тревожные мысли томили его. Со мной он почти не разговаривал. Шмербиус сделал несколько попыток заговорить с ним, но неудачно. Профессор отвечал односложно, не глядя на него. Он только раз улыбнулся за весь этот день, когда вытащил из-под скамейки клетку с белыми мышами — Тараком и Гретхен. Он бросил им сквозь прутья колбасную кожуру, свистел, хохотал, называл их причудливыми нежными именами. Но когда мыши насытились и клетка была снова поставлена под скамейку, профессор опять впал в мрачность.

Поезд бежал на восток. Часы проходили за часами. Наступил длинный зимний вечер. Профессор встал с лавки и, засунув руки в карманы брюк, неподвижной глыбой стоял у окна, затемняя все купе. Он смотрел на темные, почти уже скрытые мраком, леса и думал.

— Так продолжаться не может, — наконец проговорил он. — Мне хочется закричать на весь поезд: схватите его, закуйте его в кандалы, убейте его, это самый страшный человек во всем мире! Меня об'явят буйным сумасшедшим, но разве вы не видите, что ему известно все, все, гораздо больше, чем мне! Что ему необходимо помешать! О, это страшный злодей! Он окру-

тил меня, он сбил меня с толку, он перехватил мои идеи. Он держит меня за нос и приговаривает: дурак ты, дурак, хоть и профессор. Все мои открытия он собирается употребить на преступление. Нет, мы должны во что бы то ни стало обезвредить его.

Поезд остановился у маленькой темной станции. Прошел проводник с фонарем и сказал, что мы стоим целых полчаса, потому что паровоз берет воду. К нам в купе вошел Шмербиус и предложил прогуляться.

— Тут, может быть, и буфет есть, — сказал он, подмигивая.

Профессор вытащил из клетки мышей и сунул их в карман пиджака. Мы оделись и вышли на обледенелую деревянную платформу. Дул пронзительный морозный ветер. Мы вошли в стационарное здание.

Но здесь не было ничего, кроме бака с горячей водой. Профессор спросил у сонного почтово-телефрафного служащего, не знает ли он, где здесь можно поесть.

— Как же, — ответил тот, с удивлением рассматривая колоссальную тушу профессора: — тут за вокзалом площадь, и на той стороне — трактир.

Площадь оказалась просто большим полем. Вдали мелькали огоньки домишек. Мы шли, хлюпая по снегу и натыкаясь в темноте на большие пни, торчащие посередине площади.

— У вас есть часы, Антон Григорьевич? — спросил профессор.

— Нету, — ответил Шмербиус, — но времени еще очень много. Часы, должно быть, есть в трактире.

Наконец, площадь осталась позади, и мы очутились в трактире. Это была большая вонючая комната, тускло освещенная керосиновой лампочкой.

Профессор налетел на бутерброды и принял с жадностью уписывать их. Я последовал его примеру. Но Шмербиус не прикоснулся к еде.

— Я вегетарианец, — сказал он трактирщику. — Я ваших бутербродов не ем. Мне бы винегретцу, салатцу, капусты бы кислой...

— Капусты, это можно, — сказал трактирщик. — Марья, возьми-ка тарелочку и принеси капусты.

Профессор злобно взглянул на своего врага. Потом вытащил из кармана мышь и накормил их корочками сыра. Покончив с бутербродами, профессор спросил у трактирщика:

— Который час?

Трактирщик снял со стены лампочку и открыл дверь в соседнюю комнату. Там на стене висели часы.

— Четверть восьмого.

— У нас есть еще пятнадцать минут, — проговорил Шмербиус. — Сорок раз поспеем. Нельзя ли, голубчик, мне винегрет снарядить? Свеклы нарезать, морковки, редиски, картошки вареной... потом залить прованским маслом и немного уксусу. Профессор, ведь, вы тоже будете есть винегрет?

Профессор облизнулся и вздохнул. (), от винегрета он не откажется.

— Марья!.. — закричал трактирщик.

— Позвольте, я сам схожу на кухню, — предложил Шмербиус. — Я люблю за всем сам поглядеть. Профессор, вы пальчики оближете. У меня свой способ готовить. Об'ядение! Где у вас тут пройти? Ага, через эту комнату с часами.

Когда Шмербиус вышел, профессор наклонился ко мне через стол.

— Послушайте, Ипполит, — зашептал он. Мы должны его оставить тут на станции. Мы на целые

сутки обгоним его. Больше такой случай не представится. Пойдите в ту комнату и переведите часы на пять минут назад.

— Хорошо! — сказал я.

— Что ж это не возвращается Аполлон Григорьевич? — громко сказал профессор. — Этак мы провороним наш поезд. Пойдите, Ипполит, позовите Аполлона Григорьевича.

Я встал, прошел в соседнюю комнату и закрыл за собою дверь. Было совсем темно. Я чиркнул спичкой и подошел к часам. Часы висели слишком высоко, я не мог их достать. Стульев не было, но в углу стоял большой деревянный ящик. По счастью, он оказался пуст. С величайшей осторожностью, стараясь не шуметь, я притащил его под часы, взобрался на него, открыл круглую стеклянную дверцу и передвинул большую стрелку на пять минут назад. Затем спрыгнул на пол и поставил ящик на место.

В эту секунду дверь, ведущая на кухню, отворилась, и вошел Шмербиус с печным горшком в руках.



— Аполлон Григорьевич,— закричал я, — что же вы так долго? Профессор беспокоится, хотя времени еще много...

— Чиркните спичкой, Ипполит, и посмотрите кото-  
рый час, — сказал Шмербиус.

Я зажег спичку.

— Ага, восемнадцать минут восьмого. — прого-  
ворил он, посмотрев на часы. Осталось двенадцать  
минут. Еще уйма времени.

„Осталось не двенадцать минут, а семь“, поду-  
мал я. „Через две минуты нам с профессором надо  
бежать. Пускай он один ест свой винегрет“.

Шмербиус поставил горшок с винегретом перед  
профессором. Я за его спиной показал профессору  
семь пальцев. Тот едва заметно кивнул головой.  
И запустил ложку в горшок.

— Не правда ли, превосходно? — спросил Шмер-  
биус. — Что вы так торопитесь глотать? Осталось еще  
больше десяти минут.

— Отлично, — ответил профессор. — Вот бы селе-  
дочки сюда. Это вы торопитесь, Аполлон Григорьевич,  
а не я. Вы уже двенадцать ложек пропустили, а я  
только пятую дожевываю.

С этими словами профессор встал и, подмигнув мне,  
подошел к двери.

Шмербиус тоже вскочил.

— Куда вы? — закричал он.

— Я себе щеку отморозил, хочу снегом натереть.  
Лучшее средство. И сейчас же вернусь.

— Я вам сейчас снегу принесу. Не выходите,  
вы простудитесь. Натирать отмороженное место надо  
в тепле. Времени еще уйма.

Они оба застряли в дверях и не могли пройти  
ни назад, ни вперед.

— Я сейчас вернусь, — бормотал профессор.

— Я только на минутку, — шептал Шмербиус.

Ему приходилось несладко, потому что профессор всей своей тушей придавил его к дверному косяку.

— Пропустите! — ревел профессор.

— Позвольте пройти! — визжал Шмербиус.

Они оба одновременно выскочили за дверь и кубарем покатились по ступенькам прямо в снег. Я вслед за ними выбежал из трактира.

В эту минуту раздался резкий паровозный свисток, поезд тронулся, и между сосен замигали его освещенные окна.

Мы все трое долго молчали. Наконец Шмербиус вззизгнул и захотел.

— Я понял! — завизжал он, — хи-хи-хи, я понял! Вы проделали со мной то же, что я с вами.

— В чем дело? — вскричал профессор. — Ведь, не мог же поезд уйти за целых пять минут до срока? Это ваши плутни, Шмербиус.

— И ваши тоже. Наши общие плутни. Браво, профессор, вы проделали тот же трюк, что и я. Это большая честь — сравняться в ловкости с Аполлоном Шмербиусом. Вы мне конгениальны, профессор. Я тоже перевел часы на пять минут назад.

Профессор задумался.

— Значит, часы были переведены на десять, а не на пять минут, — наконец сказал он.

— Да, профессор, эти часы отстают на десять минут, и поезд ушел во-время.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

### Человек и зверь.

Итак, мы обречены целые сутки провести на этой маленькой станции!

Профессор послал телеграмму в Вятку, чтобы задержали наш багаж и, запахнувшись своей пелериной, сел на скамейку в зале третьего класса возле бочки с кипяченой водой. Он был мрачен и убийственно молчалив.

Шмербиус, напротив, болтал без умолку. Он все чему-то прихихиковывал, беспрестанно потирал руки и ни минуты не сидел на месте. Во всех его разговорах просвечивало желание задеть профессора, хотя, впрочем, любезен он был чрезвычайно. Я теперь не припомню всего, что он говорил, но говорил он много, перескакивая с темы на тему. Под шум его речи я задремал. Разбудил меня далекий гул.

— Поезд, — сказал профессор.

Шмербиус замолчал и прислушался, шевеля, словно собака, большими ушами.

— Поезд! — сказал он.

— Ипполит, за мной! — вскричал профессор, и мы втроем выбежали на платформу.

Платформа была темна и пустынна. На семафоре горел зеленый огонь — значит, поезд здесь не остановится. Три огня, сиявшие впереди паровоза, казалось, не двигались с места. Но вот, наконец, паровоз

подошел к платформе и медленно прошел мимо нас в красноватом облаке искр. За ним, громыхая и подпрыгивая на ходу, потянулась бесконечная вереница товарных вагонов.

Профессор стоял на краю платформы и пробовал открыть дверь каждого проходившего мимо вагона. Поезд шел настолько медленно, что мы надеялись вскочить на ходу. Но все двери были заперты на замок. Из вагона доносились какие-то странные протяжные звуки, похожие на завывание труб. Этот поезд никогда не кончится. Вот тридцать, сорок, пятьдесят вагонов.

Но вдруг одна дверь неожиданно для самого профессора поддалась. Он побежал несколько шагов, не оставаясь от двери, отодвинул ее до конца и грохнулся животом на пол вагона. Его толстые ноги, болтались в воздухе.

Шмербиус, с разбега, как перышко, вскочил на спину профессора и, топча его сапогами, преснопкойно вошел вглубь вагона. Профессор поджал под себя ноги, встал и замахал мне рукой.

Я изо всех сил старался не отставать от открытой двери. Но вскочить мне удалось только на самом конце платформы.

Профессор задвинул дверь. В вагоне было темно, как в гробу, и пахло кислой навозной vonью. Несколько минут ничего не было слышно, кроме грузного профессорского дыхания. Шмербиус заговорил первый.

— Прошу великодушно простить меня, — сказал он профессору. — Я немножко помял вас своими сапогами. Это, конечно, непоправимая неучтивость с моей стороны. Но, право, уважаемый профессор, я никак не сомневался, что, едва вы встанете

на ноги, вы закроете дверь и оставите меня на этой подлой станции поджидать завтрашнего поезда.

— Вы довольно догадливы, — буркнул профессор и снова водворилось молчание.

Вдруг рядом с нами раздалось два сильных удара в пол, будто какой-то великан переступил с ноги на ногу, и затем над самым нашим ухом прозвучал длинный, громкий, томительный вой. Он начался низко, с басом и постепенно повышался.

— Не бойтесь, — сказал профессор. — Это коровы, самые обыкновенные — коровы.

Действительно, при слабом свете спички мы увидели спины четырех больших коров. Их опущенные в ясли головы были привязаны за рога к передней стенке вагона. Мы попали в поезд, груженный скотом. Вагон, очевидно, предназначался для восьми коров, потому что у задней стенки тоже были устроены ясли, полные сена. Целая половина вагона оставалась в нашем распоряжении.

Мы очень устали и хотели спать. Профессор разостлал на полу сено и разлегся. Я прикурунул подле него. Шмербиус забрался в ясли над нами и удобнейшим образом устроился там. Коровы переступали с ноги на ногу, где-то в соседних вагонах мирно мычали быки, поезд покачивался и шумел. Я придишься к вони и уснул.

Через два часа меня разбудил громкий стук. Я приподнялся на локте. У меня и рот и нос были забиты пылью, а в волосах торчала солома. Отчего так беспокоятся коровы, отчего они так рвутся, так стучат рогами в стену, так тревожно мычат? И что это за вой, такой протяжный, нудный и страшный, отвечает им снаружи?

Потянуло свежим морозным воздухом. Я поднял голову и увидел в потолке, прямо над собою, неболь-

шое квадратное окошко. Очевидно, через это отверстие проходила когда-то труба отапливавшей вагон печурки. Но печурка была снята, а отверстие осталось. Через него я мог видеть кусок чуть светлеющего звездного неба. В этом окошке, свесив тощие ноги в вагон и наклонив лицо, сидел Шмербиус. Темнота не позволяла мне разглядеть его глаз, но мне казалось, что он смотрит на меня и улыбается.

Я толкнул профессора в бок. Он замычал, открыл глаза и сразу все понял.

— Куда вы, Аполлон Григорьевич? — закричал он.

— Воздухом чистым подышать-с, — ответил тот.

В вагоне вонища невыносимая. Не спится, знаете ли...

— Слезайте сию же минуту, — закричал профессор. — Все равно не уйдете! Я вас от себя не отпущу ни на шаг.

— Ну, уж и ни на шаг, — спокойно сказал Шмербиус. — Это кого-с ни на шаг? Меня-то? Ну, что вы нервничаете, профессор? Как бы вас кондрашка не хлопнул. При вашей толщине это очень просто. — Он наглайшим образом заболтал ногами над нашими лицами. — А, впрочем, прощайте. Или, вернее, до скорого свиданья. На том свете. Тридцатого апреля, знаете ли... Так у нас положено. Ну, всего самого наилучшего. Мне пора.

Он вскочил на ноги, и мы услышали его шаги по крыше вагона.

— Дьявол! — заревел профессор, вскочил на ясли, ухватился руками за края окошка и стал протискивать в него свое огромное тело. Это ему долго не удавалось, но в конце концов он, приподняв одно плечо и опустив другое, вышел-таки на крышу.

Я поспешил за ним, но когда мне удалось вылезть, он уже был на следующем вагоне. Шмербиус сильно

опередил его и, с удивительной ловкостью перескакивая с крыши на крышу, быстро шагал к паровозу. Профессор, грузный и неуклюжий, с ожесточением гнался за ним.

Крыши вагонов не приспособлены для ночных прогулок, особенно, если поезд при этом движется. С замирающим сердцем пробирался я по этой опасной дороге. Воздух и темнота были моей единственной опорой. Дойдя до покатого и обледенелого края вагона, я перепрыгивал на край другого вагона, такой же шаткий, покатый и скользкий.

Не доходя двадцати вагонов до паровоза, Шмербиус вдруг остановился. Он, казалось, поджидал нас, но не оборачивался, а смотрел вперед на зарю, охватившую полнеба.

Я догнал профессора.

— Профессор, — спросил я, — что это за странныйвой, от которого гремит весь лес?

— Это волки преследуют поезд, — ответил он.

Действительно, взглянув вниз, я увидел на снегу какие-то быстрые серые тени. Они неслись наравне с поездом и равномерно, как заведенные, бросались на вагоны. Но поезд лениво отряхивал их в снег. Быки встревоженно и нестройно мычали в ответ.

Шмербиус дал нам подойти на расстояние одной крыши и затем неожиданно скользнул вниз на буфера. Добежав до конца вагона, мы остолбенели.

Скрепы, соединяющие этот вагон со следующим, были сняты. Передняя часть поезда быстро убегала от нас. Шмербиус стоял на буфере последнего из уходящих вагонов и что-то кричал, кривляясь, приплясывая и размахивая руками.

Та часть поезда, на которой находились мы, минуты три катилась еще по инерции и остановилась.

— Ч-чорт! — завопил профессор. — Он опередил нас, плешивый щут, свистопляс негодный. Я размозжу ему череп, я превращу его в блин! О, если бы только я мог поймать его!..

Но Шмербиус уже скрылся из виду, и угрозы профессора были напрасны.

Сорок товарных вагонов, груженных живым скотом, стояли на снежной лесной поляне. При тусклом свете зимней зари мы видели широкий круг сосен, обступивших поляну со всех сторон, да белую железнодорожную насыпь. Хоть бы сарай какой-нибудь, хоть бы дымок над лесом, хоть бы след на снегу! Ничего! Только снег да высокие сосны.

Волки, потеряв надежду добраться до запертых быков, столпились вокруг вагона, на котором стояли мы, не сводя с нас желтых глаз, и тяжело, по-собачьи, дышали, свесив на сторону красные языки. Как их много! А из леса выходят все новые волки, по двое, по трое... Они сначала останавливаются у опушки, опасливо втягивают воздух и затем с тихим ворчанием подходят к вагону. То тот, то другой пробует допрыгнуть до нас, но, на целый аршин не доскочив до крыши, падает, назад, в снег.

Было холодно, и мы, с'ежившись, побрали по крышам к своему вагону. Волки не оставали от нас ни на шаг. Теперь итти было много легче, потому что поезд стоял.

Но вот и наш вагон! Отверстие в крыше открыто нонпрежнему. Профессор глянул в него и с криком ужаса отскочил прочь.

Дверь вагона была полуотворена. Мы ли забыли ее плотно затворить, она ли отворилась при остановке — не знаю. Но только теперь вагон был полон скрежетом и чавканьем. Коровы мычали тонким,

пронзительным, безнадежным, совсем не коровьим мычанием. Волки хозяинчили почти молча, лишь изредка повизгивая, и мы ясно слышали, как стучали их когти по деревянному полу вагона. В получьме ничего нельзя было разглядеть, кроме копошащейся серой массы. Мы с беспомощной жалостью ждали, когда, наконец, кончится этот отвратительный пир.

Но вдруг молодому бычку удалось каким-то образом освободить свои рога. Мы увидели, как круто изогнулась его белая спина. Он отряхнул облепивших его волков и выскочил в дверь. Это был крепкий бычек с широко расставленными передними ногами, с сильной, крутой грудью. Шея его была так крепка и толста, что широкой дугой выдавалась вперед. Был он весь белый, и только левый бок и короткую морду покрывали черные пятна, будто он вымазался в чем-то.

Он широким кругом понесся по поляне. Бежал он еще совсем по-телячий, высоко подбрасывая задом. Волки всей завывающей стаей бросились ему наперерез. Вот они обступили его. Вот они широким полукругом медленно подходят к нему. Он идет секунду, две, три. Наши сердца замирают. Но вот он бросается на них, как вихрь, низко опустив голову, давит их своей тридцатипудовой тяжестью, насаживает на широко расставленные короткие рога. Они перекатываются через его спину и с визгом падают в снег. Но он один, а их много. Поляна сера от их поджарых ободраных тел. Они набрасываются на него со всех сторон, вонзаются в его бока зубами, жмут его, тискают. Он носится по поляне, как таран, рвет их рогами, давит копытами, но они путаются у него под ногами, они кусают его, хватают

за ноги, и он обливается кровью. Вот пять или шесть здоровенных волков зараз вскочило ему на спину. Он увал.

— А-ах! — закричал профессор.

Еще секунду мы видели его грустные покорные глаза, слышали его жалобный, прерывистый рев, но затем все это сменилось неистовой суматохой, голодным завыванием, беспорядочной свалкой. Волки всем скопом насели на бедного бычка и заслонили его от нас. Только минут через двадцать они стали расходиться, облизывая свои окровавленные морды. И мы увидели на розовом от крови снегу белый скелет — все, что осталось от несчастного бычка. поистине героически отстаивавшего свою жизнь.

Число волков увеличивалось с каждой минутой. Задние ряды уже не могли подойти к поезду. Теперь снова все их внимание было устремлено на нас. Они, ни минуты не останавливаясь, с точностью машины, прыгали вверх, но, не допрыгнув, падали. Мы скоро привыкли к этому неумолкающему шуму падающих тел. Снег вокруг вагона был утрамбован их тяжестью.

Мороз был сплынный, он обжигал нам щеки. Стоять на месте было невозможно, и мы с профессором затеяли беготню по всем крышам. Волки бросались за нами, оскалив пасти и наскакивая друг на друга. Только бы не упасть! Там внизу стережет мгновенная подлая смерть.

Но и бегать нельзя до бесконечности. Мы устали и сели рядом, тесно прижавшись друг к другу. Широкая профессорская пелерина закрывала нас обоих. Профессор нежно гладил меня по спине своей колоссальной ручищей. А кругом раздавался однообразный стук, похожий на шум мячей, шлепающих в стену. Это прыгали и надали волки.

Мороз подкрадывался незаметно. Сначала у меня окоченели ноги. Потом так замерзла левая рука, что я не мог двинуть ни одним пальцем. В щеки, казалось, были вставлены сотни ледяных иголок. Профессор страдал меньше меня. Толщина и полнокровие спасали его. Но и на его щеках сияли подозрительные синие пятна. Если не подоспеет какой-нибудь поезд, нам предстоит либо замерзнуть, либо стать добычею голодных волков.

И вдруг окружавший нас шум умолк. Волки перестали прыгать и даже вой прекратился. Они к чему-то прислушивались, подняв морды и насторожив уши.

Далеко в лесу раздался долгий, тягучий рев. Он медленно приближался, становясь громче и отчетливей, и, когда, наконец, рев этот зазвучал совсем близко, волки, вытянув шеи, стали отвечать взъерошенным и призывным воем.

И вот, из леса вышел волк необычайной величины. Мускулы под его шкурой переливались при каждом шаге. Одно ухо его было изорвано и болталось как собачье. От затылка до самого хвоста через всю спину шла полоса седых волос — белая и ровная. Он медленно, не торопясь, шел прямо к вагону, покачивая на ходу мордой и ни на кого не глядя. Вся стая испуганно расступилась перед ним.

— Вожак! — сказал профессор.

Подойдя к вагону, он посмотрел профессору в лицо и вдруг прыгнул. Это был необычайный прыжок. Кончик влажного волчьего носа показался над краем крыши, блеснул желтый глаз, и он упал. Но это только подзадорило его. Прижав здоровое ухо к голове, он изогнулся, напрягся и прыгнул второй раз. Теперь ему удалось зацепиться на крыше перед-

ними лапами, и он пытался подтянуть к ним все туловище. Когти задних лап отчаянно скребли по стенке вагона. Но профессор размахнулся правой ногой и со всей силы ударил сапогом по оскаленной волчьей морде, как футболист по футбольному мячу. Волк дважды перевернулся в воздухе и упал на спину перед лицом завывающей стаи.

Но он сейчас же вскочил. Шерсть на его толстом узловатом затылке поднялась дыбом. Казалось, все его тело было упругой стальной пружиной. Он сначала весь съежился, затем выпрямился и взлетел, как вихрь. Описав огромную дугу в воздухе, он шлепнулся на крышу и сейчас же ринулся на профессора. Профессор обеими руками обхватил толстую шею зверя. Волк передними лапами уперся в его плечи и горячей оскаленной мордой дышал ему прямо в лицо. И они закружились по крыше.

Это была схватка двух гигантов. Гигант-человек бился с гигантом-зверем. И совсем как в цирке, сотни зрителей, оскалив пасти и свесив языки, с заминанием сердца ждали, кто упадет первый.

Человек хотел задушить волка, волк пытался опрокинуть человека на спину. Он упирался задними лапами в пол и давил всею тяжестью своего тела. Но высокий рост профессора мешал ему. Профессор, широко расставив ноги, вертел волка по всей крыше и кольцом могучих рук сдавливал ему шею. Хрип зверя сливался с тяжелым человечьим дыханием. То тот, то другой брал верх. Вот-вот профессор сейчас упадет, не удержится, и волк перегрызет ему горло. Но через секунду задние лапы волка отрывались от крыши, он терял опору и, задыхаясь, ослабевал.

Я совершенно окоченел, не мог шевельнуть ни пальцем, и словно сквозь сон видел, как с морды зверя закапала красная пена, как потухли его желтые глаза, и он, весь обмякший, осел к ногам человека. Человек разомкнул руки. Он победил.

— Готов! — сказал профессор.

Я потерял сознание.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

### С т о й!

— А ведь Шмербиуса мы все-таки обогнали, хо-хо-хо! — говорил профессор улыбаясь во весь рот. — Не повезло негодяю! На всякого мудреца довольно простоты. Посуди сам, Тарас, ты у меня умный молодой человек, ведь паровоз был в полном его распоряжении, а мы целых двадцать четыре часа сидели на волчьей поляне. Делая в среднем по шестьдесят верст в час, он мог обогнать нас на тысячу четыреста сорок верст. А он прогнал свой паровоз чорт знает куда в бок от магистрали по небольшой железнодорожной ветке и только тогда заметил свою ошибку. Ему пришлось возвращаться назад, хо-хо-хо!

Профессор болтал с мышами и не заметил, что я уже давно проснулся. Мыши сидели у него на коленях и пили из блюдечка молоко. Мы снова находились в куне третьего класса, и снова рядом с профессором лежал его большой чемодан. „Значит, мы уже проехали Вятку“.—подумал я.

— Нет, злобой и хитростью ничего не добьешься,— продолжал профессор.—Мы этого прыгуна попристраним. Подумай только, мой долгохвостик, он хочет, чтобы никто не видел этого солнца, чтобы некому было строить, учиться, мечтать, целовать, любить, плавать по морям, охотиться в лесах за зверями, засевать землю. Даже тебя, мой розовый носик, мои черные

глазки, он собирается лишить молока, колбасной кожуры, сырной корочки, мыла, свечей. Он хочет, чтобы и ты умер. У меня сердце обливается кровью, когда я вспоминаю о нем.

— Профессор,— спросил я,— где Шмербиус?

— Ах, вы проснулись, Ипполит. Ну, я ужасно, ужасно рад. Как вы себя чувствуете? Вы верно страшно голодны? Я сейчас, сейчас, сию минуту. Шмербиус? Шмербиус гонится за нами по пятам. Он нас непременно перегонит. До сих пор не удалось отнять у него паровоза. Он летит на всех парах, а я никак не могу заставить нашего машиниста прибавить ходу. Этот машинист и слышать ничего не хочет, а когда я говорю ему, что от этого зависит судьба мира — он смеется мне в лицо. Вот сыр, вот хлеб, вот молоко, поешьте, дорогой мой, вам необходимо быть здоровым. Если бы вы знали, как я волновался, когда вас вчера вечером в беспамятстве сняли с крыши!

Этот великан был заботлив, как нянька. Я чувствовал себя смущенным. Удостоиться чести участвовать в такой ответственной экспедиции и потом валяться в постели, как маленький! Нет, я оправдаю доверие профессора и избавлю его от обузы.

И я стал одеваться.

Через полчаса поезд подкатил к маленькой лесной станции. Профессор, как был в одном пиджаке, выбежал на платформу. Я за ним.

— Где здесь начальник? Кто начальник? — кричал профессор.

— Профессор, посмотрите, — сказал я. — Видите там, над лесом, дымок. Не он ли это?

Профессор посмотрел и всплеснул руками.

— Товарищ начальник станции! — закричал он. — есть у вас распоряжение о задержке известного преступника Шмербиуса, укравшего паровоз?

Начальник станции с удивлением посмотрел на него.

— Нет, — ответил он, — такого распоряжения мы не получали.

— Ах, черт возьми! — вскричал профессор. — Да это преступник-рецидивист. За ним числится сотни преступлений. Он украл паровоз, принадлежащий государству. Задержите его...

Начальник станции посмотрел на профессора тем жалостливым взором, каким смотрят на сумасшедших. Действительно, этот полуодетый гигант с раскрасневшимся лицом, сверкающими глазами, с золотыми волосами, развевающимися по ветру, не мог требовать особенного доверия к своему разуму.

Профессор стал упрашивать, умолять.

— Есть у вас дети, товарищ? — спросил он. — Ах, у вас есть дочка. Задержите его ради вашей дочки. Задержите его ради вашей собственной жизни. Этот злодей замыслил небывалое преступление... Он хочет... Тридцатого апреля...

Начальник станции сокрушенно покачал головой и, многозначительно подмигнув мне, постучал по лбу пальцем.

— К сожалению, ничего не могу сделать, — сказал он. — Извольте садиться в вагон. Поезд сейчас тронется.

Из-за поворота железной дороги показался паровоз. Он летел на всех парах, рассыпая по снегу искры.

— Это он! — закричал профессор. — Я сам остановлю его. Эй, Ипполит, бегите в вагон и принесите

бутылку с постным маслом. Да живо! Коровьего он не любит, так пусть попробует постного.

Я помчался в вагон и через секунду вернулся с большой бутылью. Профессор выхватил ее у меня из рук и спрыгнул на рельсы.

Возле этой станции было только две колеи. На одной из них стоял наш поезд, по другой должен был проехать паровоз Шмербиуса. Профессор вдохновенно и щедро поливал рельсы этой второй колеи маслом. Паровоз приближался с невероятной быстротой.

— Сойдите с рельс! — закричал я. — Он вас раздавит!

Но профессор, не торопясь, выплескал на рельсы остатки масла и сделал несколько шагов по шпалам, как бы уходя от настигающего его паровоза. Затем он остановился и, попрежнему не сходя с рельс, повернулся лицом к грохочущему черному чудовищу.

Паровоз, окруженный клубами пара, как вихрь подкатил к станции. Начальник станции, стараясь предотвратить гибель профессора, поднял красный флаг, знак остановки, но паровоз не желал останавливаться. На всем ходу паскочил он на место, вымазанное маслом. Не больше двух сажен отделяло его от профессора. Еще секунда — и профессор погибнет.

Но Зворыка знал, что делал. Паровоз остановился. Он продолжал сыпать искры, выпускать облака пара, греметь, грохотать и врететь колесами. Но с места не двигался. Колеса скользили по намазанным рельсам.

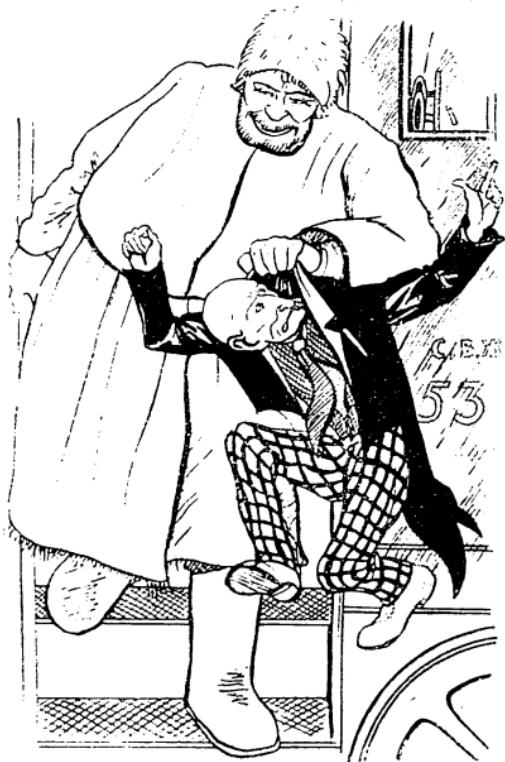
— Ага, забуксовал! — ликовал профессор. — Ну, что, взял, плешивый? Ах ты дырявая калоша, хо-хо-хо! Товарищ начальник станции, арестуйте его!

— У меня нет на это никаких оснований.

— Как нет никаких оснований?! А вы не видели, что он хотел раздавить меня? Разве он подчинился вашему сигналу?

— Ступайте в вагон, гражданин, поезд сейчас отходит. Нечего скандалить на рельсах.

— В чем дело? — завизжал Шмербиус, высовываясь из оконика. — Что это значит? У меня срочные директивы из Москвы, и я не позволю...



— Смотрите, смотрите! — закричал я. — У него в паровозной будке связанные люди.

— Э, да здесь дело не чисто, — пристально вглядываясь, сказал начальник станции. — Как ловко он их перевязал. И затычки во рту. Ба! да это машинист Васильев с товарного поезда номер шестнадцать.

Шмербиус понял, что надо удирать. Он надавил на рычаги, колеса завертелись еще стремительнее, но паровоз не двинулся с места.

— Вылезай-ка, гражданин хороший, показывай свои документы и директивы, — продолжал начальник станции. — Эй, Федор Иваныч, будь любезен, вытащи его из паровоза.

Широконлечий, здоровенный смазчик вошел в паровозную будку и выволок Шмербиуса за шиворот, как котенка.

В эту минуту раздался свисток, и наш поезд тронулся.

— Ипполит, бежим! — закричал профессор, — они теперь сами с ним расправятся.

Он помчался за отходящим поездом и вскочил на подножку нашего вагона.

Шмербиус как волчок завертелся вокруг державшего его смазчика. Тот вскрикнул и разжал руку. Шмербиус помчался догонять поезд. Я за ним. Ему удалось вскочить на площадку заднего вагона. Я схватил было его за фалду, но он со всей силы ударил меня ногой в грудь.

Я упал на платформу и остался лежать на спине, а он паясничал и кривлялся, глядя на меня из уходящего поезда

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

### Один на паровозе.

Я кричал, я метался по станции, как угорелый... я чуть не плакал. Наконец, опомнившись, подошел к домику начальника и отворил дверь.

— Дайте мне паровоз! — закричал я.

— Т-сес! --- заинтригали на меня со всех сторон.

В углу на кровати лежал человек. Из-под одеяла видны были только его растрепанные волосы, два горящие глаза и большой белый-белый нос. Он дышал хрипло и так редко, что все присутствующие замерли, ожидая его дыхания.

— Вот как он его заморозил, — сказал стоявший рядом со мной смазчик.

Это умирал машинист Васильев.

Я тихо отворил дверь и вышел во двор. Волнение мое улеглось, и после жаркой избы мне показалось еще холоднее. Паровоз Шмербенса попрежнему стоял перед платформой. От ничего делать я встал на подножку и вошел в паровозную будку. С удивлением рассматривал я рычаги, стеклянные трубки, какие-то круглые инструменты, похожие на часы. Угли в тонке еще тлели. Отчаянный план мелькнул у меня в голове.

Я огляделся по сторонам — никого. Тогда я схватил лопату и стал наполнять тонку углем. Пламя вспыхнуло сразу. Я вылез из паровоза и стал лопа-

той расчищать снег между щитами. Через минуту я добрался до земли. С невероятным трудом мне удалось откопать кусок смерзшегося, твердого, как камень, суглинка. Добрые четверть часа я крошил его, ударяя ребром лопаты. Когда он, наконец, искрошился, я набрал полные горсти ледяного песку и стал усыпать им рельсы перед паровозом. Теперь колеса скользить не будут.

У меня были самые смутные представления об устройстве локомотивов. Правда, я слышал что-то о кotle, о каких-то шестернях, о клапанах, но этого было мало. Войдя снова в паровозную будку, я стал торопливо передвигать рычаги. И, о радость! паровоз закряхтел, зашипел, вздрогнул — и сдвинулся с места! Я принял с бешенством наполнять топку углем. Фу, как жарко! Пот градом катил с меня.

Избы, стрелки, семафоры замелькали по сторонам. Нобежали телеграфные столбы, поныли леса, мосты загремели под колесами. Но мимо, мимо! Еще угля в топку, еще! Лети паровоз! Мы скоро увидимся, профессор!

Дым из трубы валил красный и жаркий. К тонке нельзя было подойти. Но мне все было мало. И только когда уже некуда было ныирять уголь, я сел в углу на скамеечку отдохнуть.

В окна дул ледяной ветер, а тонка дышала невыносимым жаром. Не мудрено, что машинист, более суток пролежавший под самым окном, не перенес такой разницы в температуре. Мне хотелось понять, отчего Шмербиус так поступил с ним — из жестокости или из равнодушия? Вряд ли он питал злобу к этому ни в чем неповинному человеку. Что сделал ему машинист Васильев? Но, с другой стороны, неужели он мог быть так занят собой и своими делами,

чтобы не заметить, как рядом в ужасных пытках мучается живой человек?

Никогда еще я так быстро не ездил. Лес казался сплошным неразборчивым темно-зеленым потоком, стремительно несущимся мимо меня. Телеграфные столбы пробегали со скоростью пулеметных выстрелов. Я мчался гораздо быстрее пассажирского поезда, в котором ехал профессор. Но меня начало одолевать беспокойство. Сумею ли я, если понадобится, остановить паровоз? Не грозит ли мне столкновение? А что если мой паровоз едет не по той колее? Много раз стрелки гремели у него под колесами, и много раз он перескакивал с колеи на колею. Я отгонял тревожные мысли и снова подкладывал уголь в топку. Профессор должен быть настигнут во что бы то ни стало. Лети, мой милый паровоз, лети! Никакие опасности не остановят меня.

Как пустынна эта страна! Проходит час за часом, а кругом ни жилья, ни дымка. Только лес да одиночные серые скалы, обросшие бурьм мхом. Железнодорожная насыпь порой так высока, что сосны едва достигают ее половины, но минута — и паровоз в глубоком ущелье, которое встречает его гулом тысячечасового эха. Где же он, поезд профессора?

В пять часов стало темнеть. Я беспрестанно выглядывал в окно, но впереди ничего нельзя было разобрать, кроме однообразной линии рельс, теряющихся в сумерках. Ну, так еще, еще угля в топку! Греми, мой огненный конь, пожирай сотни и сотни верст. Сегодня вечером я должен обнять моего милого, теплого друга.

Когда стемнело, с паровозом стало твориться что-то неладное. Он наполнился звоном и грохотом, он лязгал железом по железу, он качался, как корабль.

в море. Стенки котла мелко-мелко дрожали, искуская пронзительный писк, ничем не заглушаемый, который лез мне в уши, томил и нервировал меня. Железо над топкой до того прогорело, что сквозь него просвечивало пламя. Из трубы вылетали огненные искры, окутывавшие паровоз кровавым облаком, и даже котел сиял в темноте тусклым красным светом.

Я почувствовал недоброе. О, чорт возьми! Котел пуст, в нем нет воды. Он сейчас разорвется, развалится! А как я остановлю паровоз? Мне страшно притронуться к рычагам. Нажму что-нибудь не то и — конец, гибель. Да и что я буду делать здесь, среди леса, на украденном паровозе? Стоять и знать, что с каждой минутой профессор уезжает все дальше? Нет, благодарю покорно, уж лучше гибель. Вперед, вперед!

Что это там за огни? Все косогорье усыпано кострами. На пути стоят какие-то вагоны.

Мой раскаленный паровоз, похожий на жаркую кровяную кацлю, стремительно прорезал морозную темноту. Он весь обмяк, покосился, как не затушенный самовар, в который забыли налить воды, даже труба его слегка с'ехала на бок, но продолжал нестись вперед. А озаренные кострами вагоны все росли и росли. Столкновение было неминуемо.

Я кинулся к рычагам, отодвигал их то в одну, то в другую сторону, но все напрасно, паровоз не останавливался. На каждое мое движение он отвечал таким адским гулом, таким звоном и грохотом, что я задыхался от ужаса.

Мне оставался только один путь к спасению. Я спустился на подножку. Бешеный ветер дохнул мне в лицо. Сжав зубы я прыгнул в темноту.

навстречу ветру и, утопая в жестком снегу, кубарем покатился вниз, под насыпь.

Паровоз, как огненный дракон, тяжело прокатился вперед, раскидывая по шпалам куски горящего угля. В двадцати шагах от меня он налетел на пассажирский вагон, своротил его с рельс, и лопнул. У меня зазвенело в ушах от оглушительного грохота. Столб пламени поднялся в черное небо, озарив окрестные леса и далеко разогнав по снегу безумные тени.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

### Шмербиус выпускает когти. — Гляссе.

— Пока я метался по станции, ломая руки и не зная, что предпринять, профессор, насущившись, сидел у себя в куни и проклинал все на свете. Он видел, как я упал, знал, что Шмербиус в поезде, и его гигантские кулаки сжимались от негодования.

— Кхе-кхе! — прозвучало у него над ухом.

Но профессор не оглянулся.

— Кхе-кхе! — снова услышал он и поднял глаза.

Перед ним стоял Шмербиус и подобострастно улыбался. Он был такой же, как всегда, только на лице его и лысине причудливыми разводами лежала сажа — след недавней паровозной экспедиции.

Зворыка угрюмо молчал.

— Не могу скрыть, — заговорил Шмербиус с какой-то даже грустью в голосе, — не могу скрыть, вы слишком опасный для меня соперник. Увы! Человечество имеет в вашем лице превосходного защитника. Человечество...

— Что вы все о человечестве! — буркнул профессор. — Разве вы человек? Вы просто урод.

— Как?

— Ну, да, урод. Щуплый, плюгавый урод. Из одного порядочного человека шестьдесят таких, как вы, выкроить можно. И что у вас за физиономия! Плюнуть жалко. Вы, верно, в зеркало никогда не смотрели.

— Верно! верно! — униженно заговорил Шмербиус. — И не смотрю в зеркало никогда, и смотреть не буду. Самому противно. У меня действительно внешность ногаяя. Еще у папеньки работал — в парикмахерской — так и тогда от зеркала отворачивался.

— И ноги у вас жидкые. — продолжал с презрительной миной Зворыка. — Блошиные ножки, тьфу! Так и раздавил бы вас ногтем.

— Опять правильно, насчет ног. Совершенно верно заметили. Но раздавить меня — нет, не раздавите. Не раздавите, профессор, не раздавите. Из-за меня, ничтожного, вы, такой знаменитый и такой... гм... обширный, покинули свой кабинет и отправились сюда, на край света. А разве складка на вашем возвышенном лбу, профессор, не из-за меня? А! вы хмурите брови, вас тревожит плешивая тля. — так, ведь, кажется, вы меня вчера окрестили, мужественный победитель волков? Впрочем, я не о том хотел с вами поговорить. В известных способностях вам отказать нельзя. Вымазать рельсы маслом — это талантливо, это мне нравится. Я уважаю в вас достойного противника. Я хотел предложить вам...

— Говорите скорее и убирайтесь к чорту! — сказал профессор: — вы мне надоели.

— Фу, какой вы горячий. С вами даже поболтать нельзя. Ведь, дорога длинная, ехать скучно, хочется с кем-нибудь душу отвести. Так вот, я желаю вам дружески предложить...

— Что предложите?

Вместо ответа Шмербиус раскатисто захохотал с самым простодушным видом.

— Ха-ха-ха, профессор! — заговорил он, вытирая выступившие на глаза слезы, — ха-ха-ха! Ну, право, никогда не видел такого шутника. Ха-ха-ха! Ох.

умру... ха-ха-ха! Вот шутник, ха-ха-ха! — вот весельчик...

— Кто шутник?

— Кто? Вы, ха-ха-ха!

— Ничего не понимаю.

— Он ничего не понимает! Ха-ха-ха! Встретил в поезде бедного простодушного провинциала и с таким ненодражаемым остроумием дурачил его в течение четырех суток. Ха-ха!

— Это вы-то — простодушный провинциал?

— Ха-ха-ха! Он все еще шутит! Блистательно! Бесподобно! Неужели вы, профессор, будете утверждать, что поверили, будто я действительно... ха-ха-ха!..

Тут Шмербиус окончательно подавился добрым, благодушным, чистосердечным смехом.

Профессор твердо посмотрел ему в лицо.

— Да, я это утверждаю, — сказал он.

Шмербиус долго не мог притти в себя от душившего его хохота.

— Ой, вы, чудак! — наконец сказал он. — Да, ведь, я просто комми-вояжер, представитель варшавских и лодзинских фирм. Я распространяю головные ламские шпильки.

Тут он с ловкостью фокусника вынул из жилетного кармана несколько пачек шпилек разной величины и разложил перед профессором.

— Какой товар! — закричал он, причмокивая. — Лучше английских! Не гнутся, не ломаются, в огне не горят. Пять различных сортов. Фабрика Ляскевич и сын. Гриненик начка. Что? Это дорого? Я вам уступлю по знакомству. Ну, видите, я действительно мелкая тля: маленький коммерсант. Зачем мне взрывать?.. ха-ха-ха!.. Профессор, вы переутомились, вы

первничаете, у вас ожирение сердца, вам необходимо отдохнуть. Я хочу вам предложить...

— Что?

— Вернуться в Питер.

Целую минуту длилось молчание.

— Я не вернусь, — сказал профессор.

В глазах Шмербиуса зажглись злобные огоньки. Все шутовство его мгновенно иронило.

— Вы вернетесь, — сказал он настойчивым голосом.

— Нет, не вернусь!

— Нет, вернетесь.

— Нет, не вернусь!

— Сегодня же! — уже не скрывая своей злобы, сказал Шмербиус.

— Не раньше, чем раздавлю вас, — и профессор вспыхнул ногтями, будто действительно давит блоху.

— Ах, так! Ну, хорошо! Но знайте, пощады не будет. Я никому не позволю становиться у меня на дороге. И не таких, как вы, дорогой мой, я ставил на место. С Андоллоном Шмербиусом шутки плохи. В последний раз говорю вам, профессор, возвращайтесь в Ленинград.

Шмербиус говорил с расстановкой. Слова синяющим свистом вылетали из его рта.

Профессор не выдержал. Кровь бросилась ему в голову.

— Убрайтесь к черту! — завопил он, сжимая кулаки. — Или я заткну вам глотку!

— Я вас сожгу, засеку, заморожу... — шипел Шмербиус.

Но профессор встал, нагнулся, схватил его за заднюю часть брюк и высоко поднял над головой.

— Я буду беспощаден, — визжал Шмербиус, размахивая в воздухе руками и ногами и задыхаясь от злобы.

Профессор вынес его на площадку и вернулся в вагон. Пот градом катился с его лица, он был мрачен и с трудом переводил дыхание. Что значит эти странные угрозы? К чему эта невнятная скоморошья болтовня? Отчего так предательски замирает сердце при одном взгляде на эту щуплую гадину?

Было уже совсем темно, когда профессор увидел те самые костры на косогорье, которые, спустя три часа, так удивили меня.

Он, вглядываясь, прислонился лбом к стеклу и вдруг почувствовал невероятный толчек в грудь, опрокинулся на спину и полетел вниз, в пропасть, в бездну! Казалось, весь мир обрушился на него, он был засыпан, задавлен грудой каких-то тяжелых предметов. Затем — оглушительный удар по затылку, и профессор потерял сознание.

Очнувшись, он понял, что поезд стоит. Где-то, совсем близко, раздавался произительный женский визг. То справа, то слева слышался резкий звук, похожий на щелкание бичей. „Стреляют“ — подумал профессор и попробовал двинуться. И сейчас же зазвенело и зашелестело кругом. Он весь был засыпан битым стеклом, которое отвечало звоном на каждое его движение. Кое-как, разгребая руками стекло, профессор сел и попробовал отодвинуть тяжелый предмет, придавивший ему ноги. А! да это его собственный чемодан!

Профессор поднял его и встал. Было темно, как в аду. Только наверху, в четырехугольном отверстии мелькали звезды „Чорт возьми“, подумал профессор — да, ведь, это окно. Значит, вагон лежит на боку“

И он полез по скамейкам вверх к окошку. Разва четыре он обрывался и падал, но снова вставал и снова упорно карабкался вверх. Наконец, ему удалось добраться до окна. Он просунул в него голову и плечи, уперся о края руками и вылез из вагона.

Паровоз, тендер и восемь опрокинутых вагонов лежали на боку под насыпью. Весь лес был озарен кострами, и между сосен мелькали тени коренастых, обезьяноподобных людей. Они, казалось, были покрыты косматой шерстью.

В окнах оставшихся на рельсах вагонов мелькали огни. Косматые люди вскакивали на площадки и выбрасывали под насыпь тюки, чемоданы, корзины. А стоявшие внизу сортировали их и складывали в кучу. Это был прекрасно организованный грабеж. Внутри вагонов кричали и плакали. То там, то здесь раздавались выстрелы. Но спаужи все было чинно и тихо.

Профессор бесцумно срыгнул в снег и цапнул на животе к лесу. Снег забивался ему в рот, в уши, за воротник, но он упрямо лез вперед, отфыркиваясь, как кот, которого облили водой.

Возле сосны стоял человек в звериной шкуре и обеими руками держал винтовку. Он, казалось, смотрел прямо в лицо профессору. Профессор притаился и изо всех сил прижался к снегу. Человек не двигался.

Стараясь не дышать, Зворыка уголком глаза следил за ходом грабежа.

Трое мужчин в военной форме — должно быть, охрана поезда — выскошили на площадку вагона и дали залп из револьверов. Один разбойник упал. произошло легкое замешательство, и затем лес загремел ответными выстрелами. Через минуту смельчаков, уже мертвых, выволокли из вагонов. Профессор не

мог быть безучастным зрителем. Воинственный жар охватил его сердце.

Он поднял голову. Человек с ружьем напрежнему стоял прямо против него. Стоит ему спустить курок и—смерть. Но он не спускает курка, он неподвижен, как истукан. Зворыка, не сводя с него глаз, медленно пополз ему в обход.

Вот, наконец, и сосны. Профессор облегченно вздохнул и выпрямился во весь рост. Осмотревшись кругом и пояс утопая в рыхлом снегу, он пошел прямо к человеку в звериной шкуре. Теперь тот стоял к нему спиной. Профессору под ноги попался большой кривой сук, и он поднял его. Это было целое бревно, фунтов в тридцать весом. С величайшей осторожностью он подкрался сзади к косматому часовому. Подойдя к нему почти вплотную, он поднял дубину высоко над его головой и остановился. Стоявший к нему спиной человек ровно и спокойно дышал. „Спит“, улыбаясь, пробормотал профессор и бросил дубину в снег. „Устал, должно быть, поджидал поезда. Сморило несчастного на морозе“. Затем, бесшумно сняв с себя шарф и кожанный пояс, он схватил спящего за горло и, не давая ему опомниться, заткнул ему рот шарфом. Тот спросонья только мигал крошечными раскосыми глазками. Прикрутив его ремнем к сосне, профессор взял у него ружье и патронташ. Потом отошел на несколько шагов в сторону, вытолтал в снегу глубокую яму и, загребая ручищами, окружил себя снегом, как крепостными стенами. Рыхлый снег позволял ему делать бойницы в любом направлении.

Потом присел, положив на колени патронташ, промял в снегу дырку для ружья и выстрелил. Он напал на неприятеля с тылу и в восторге смотрел, какой переполох вызвала его неожиданная стрельба.

На опушке появилось два человека в высоких меховых шапках. Это были казаки, самые обыкновенные старорежимные казаки, даже с погонами на плечах. Они стояли, прислушиваясь и присматриваясь. А затем, низко согнувшись, короткими перебежками двинулись к нему. Он перестал стрелять, чтобы не выдать своего убежища.

— Да тут нет никого, — сказал один из казаков, искав сугроб штыком.

Долго кружили они по снегу, стремительно пригедая яри малейшим шелесте. Профессор приготовил ружье и напряженно следил за каждым их движением, поворачиваясь от одной бойницы к другой. Несколько раз они проходили в двух шагах от него, и ему приходилось нагибаться, прячась на дне своей снежной ямы.

— Смотри, он привязал часового! — вдруг закричал один из разбойников.

— Часовой спал на часах! — сказал другой.

— Сволочь косоглазая! Свортти-ка ему желтую харю.

Профессор вздрогнул. С отвращением смотрел он, как они хладнокровно избивали привязанного к дереву часового. Несчастный не мог даже кричать, так как рот его был забит шарфом; он только извивался под тяжестью ударов.

— Оставьте его! — громовым голосом закричал профессор, забыв всякую осторожность.

Казаки остановились, прислушиваясь, но через минуту снова принялись избивать беднягу-часового.

Профессор спустил курок, раздался выстрел, и истязатель упал к ногам своей жертвы. Его товарищ пустился наутек, спотыкаясь и по пояс проваливаясь в снег. Профессор выстрелил второй раз,

но промахнулся. И сейчас же со всех сторон послышались выстрелы, лес затрясал, как разгорающийся можжевельник. Убежище профессора было открыто. Теперь его не спасет ничего. Пули с коротким шуршанием зарывались в снег в двух шагах от профессора.

Человек сорок окружило его. Большинство из них были косоглазые, желтолицые люди в косматых шкурах. Они говорили на непонятном языке, по временам вставляя в свою речь отдельные русские слова. Когда профессора, подгоняемого ударами прикладов, выволокли из снега, раздался шопот удивления. Его рост и толщина поразили косоглазых людей.

— Бей его! — закричал один из них.

Еще минуту — и бедному профессору не сдобрить бы. Но вот из лесу вышел высокий казак с ногонами на плечах и замахал руками.

— Оставьте! — закричал он. — Приказано живым доставить. Их благородие его судить будут.

Зворыку, со связанными позади руками, в сопровождении пятерых конвойных повели в лес.

Вели его сначала вверх, по прилегающему к железной дороге склону холма, а потом вниз, по противоположному склону, и минут через пять спустились в темную лесистую лощину на берегу замерзшего ручья. Здесь находилась дюжина юрт, наскоро сделанных из деревянных брусьев и конских шкур. У входов в юрты горели костры, и при их свете профессор увидел привязанных к соснам манжурских лошадок, маленьких, с большими головами. Из юрт высовывались женщины, такие же косматые, как их мужья, кто с недогладанной костью в руках, кто с обугленной палкой для мешания костра, а кто и со сияющим ребенком. Они с удивлением оглядывали про-

фессора и кричали что-то на своем странном наречии его конвоирам.

Вот, наконец, и последняя юрта. Она была раза в четыре больше остальных. Внутри горел костер, и дым выходил через отверстие в крыше. У двери стояли два казака с саблями на-голо, выпятив грудь и мучительно вытянув шеи. Тут же валялось несколько битых бутылок и несло такой крепкой спиртной вонью, что профессор закашлялся.

Один из конвоиров вошел в юрту, и через секунду оттуда выскочил маленький толстенький человечек в светло-сером офицерском кителе и огромными серебряными эполетами. Он вылетел из дверей в страшном гневе и, очевидно, собираясь сразу же пакинуться на профессора, но, увидев его, в удивлении остановился, выщурив рыбьи глаза.

— Молчать! — наконец, рявкнул он, хотя профессор и рта не раскрывал. А! крамольник, а! коммунист, а! в бога не веруешь!

В страшной злобе метался он вокруг профессора, задрав кверху красную усатую физиономию и тявкая, как щенок. Наконец, он остановился и с трудом перевел дух.

— Эй, Аполлона! — закричал он. — пойди посмотри, это и есть тот самый?

Из юрты вышел Шмербнус и, нагло оглядев профессора со всех сторон, почтительно согнулся перед офицером.

— Тот, тот, ваше благородие, — сказал он. — Можете не сомневаться. Отявленный коммунист. На службе у большевиков с семнадцатого года.

— Молчать! — закричал офицер, хотя Зворыка и не думал возражать. — Запорю!

— Правильно, хе-хе, ваше благородие, — вставил Шмербиус. — Всыпьте ему по первое число. А потом повесьте.

— И повешу, — обрадовался офицер. — Что, брат, думаешь — слабо? И повешу!

— Хе-хе-хе, ваше благородие, — захихикал Шмербиус, — хе-хе-хе!

— Ха-ха-ха, — заржал офицер. — Мы все сделаем по чести, по уставу. Военно-полевой суд. Эй, Кирилюк, сюда!

Из юрты вышел сгорбленный человечек в солдатской шинели, с рябым и илюгавым лицом. На одном глазу его было большое бельмо, но зато другой сиял радужным, пьяным блеском.

— Председателем суда назначаюсь я, штабс-капитан Авсеенко, начальник первого хунхузского полка. правитель всея Сибири и прочая, и прочая, и прочая, — торжественно сказал офицер, тыкая себя в грудь пальцем. — Помощником председателя — Аполлоника Шмербиус, полковой зубодер и цирюльник...

— Весьма облагодетельствован вашим благородием, — вставил Шмербиус, — еще вашего покойного напаншу брили.

— Секретарем военно-полевого суда назначается писарь Кирилюк. Пиши, Кирилюк..

Кирилюк вынес из юрты табуретку, стал перед неё на колени, достал лист бумаги и послюнил карандаш.

— Пиши: мятежник и коммунист...

— Профессор Зворыка, — вставил Шмербиус.

— Профессор Зворыка признан виновным в ниспровержении властей...

— От бога поставленных властей...

— Пиши: в ниспровержении от бога поставленных властей, в гонении на святую веру...

— И на соборную православную апостольскую церковь, — прибавил Шмербнус.

— Эх, больно стиль у тебя хорош, Аполлона, — с завистью сказал офицер. — Пиши. Кирилюк: апостольскую церковь и в прочих бесчинствах и преступлениях. А посему полевой суд постановил: означенного Зворыку предать смертной казни через повешение.. Гм... через повешение... Этого мало. Надо что-нибудь новаковыристее выдумать.

— Через гляссе, — предложил Шмербнус.

— Это как же?

— Очень просто. Французское выражение.

— Помините.— вмешался Кирилюк, — мы в запрещенный год четырех крестьян через гляссе представили. Раздеть, облить водой из паровозной кипки, поставить на мороз, они и замерзнут.

— Ха-ха-ха! уморил, Кирилюк! Гляссе... ха-ха-ха!

— Хе-хе-хе! — подхихикнул Шмербнус.— Гляссе...

— Пиши. Кирилюк: предать смертной казни через гляссе, ха-ха-ха!

— Какой из него статуй получится, ваше благородие, — сказал Кирилюк.

Раздался топот конят, и к офицеру подскакал хунхуз на маленькой большеухой лошаденке.

— Ваше благородие! — закричал он. — Поезд идет!

— Откуда?

— Он сейчас у Кедровой Рощи, в двадцати пяти верстах.

— Успеем гляссировать, — сказал офицер. — ступай...

У опрокинутого поезда был разгром. Разбойники грабили суматошливое и торопливое. Несчастные пассажиры сидели в снегу, связанные по двое, по трое.

Иные кричали и плакали, иные мрачно подчинялись разбойникам. Хунхузы и казаки вычили тюки, чемоданы и корзины на спины своих лошаденок. Они сумно ссорились между собой из-за делянки.

Эскорт, сопровождавший штабс-капитана, помимо останавливался, потому что „его благородие“ приказывал то ту, то другую вещь отнести в его личный обоз. Профессор мерз и перепинался с ноги на ногу.

Уже у самого паровоза, перевернутого и остывшего, их нагнал второй хунхуз, прискакавший с наблюдательного поста на холме.

— Поезд идет! — кричал он.

— Успеем, — ответил офицер.

— Он летит, как ветер.

— Успеем.

— Ой, атаман, это не простой поезд, это шайтан-поезд. Его труба — огонь, его котел — огонь, его колеса — огонь, он дышит огнем.

— Молчать! — рявкнул штабс-капитан.

Но известие мигом распространялось по всему лагерю. „Шайтан, шайтан-поезд!“ — бормотали хунхузы. Суеверные, невежественные казаки угрюмо крестились. Те, кто успел навьючить своих лошаденок, торопливо уходили в лес.

Профессора проволокой прикрутили к телеграфному столбу возле паровоза. Шмербиус принимал в этом деятельное участие и даже сам лазил на столб за проволокой. „Туже, туже!“ — кричал он привязывавшим профессора казакам. — „Приналяг! Си-ильно! Дру-ужко!“ А потом улучил минутку и сам подонял к профессору. „Что, взяли, уважаемый?“ — прощентал он. — „Не дорошили вы еще тягаться с Аполлоном Шмербиусом“.



Раздался далекий гул. Он все рос и приближался. С грохотом лязгало железо, а лесное эхо нестройным ревом отвечало ему. Разбойники бросали добычу и один за другим уходили в чащу.

И вот из-за поворота выскоцил огненный дракон. Морозный туман сделал его огромным и расплывчатым. Багровое чудовище приближалось с неистовой быстротой. Лошади тревожно заржали. С диким воинством, бросая все, хунхузы вскакивали в седла и неслись прочь.

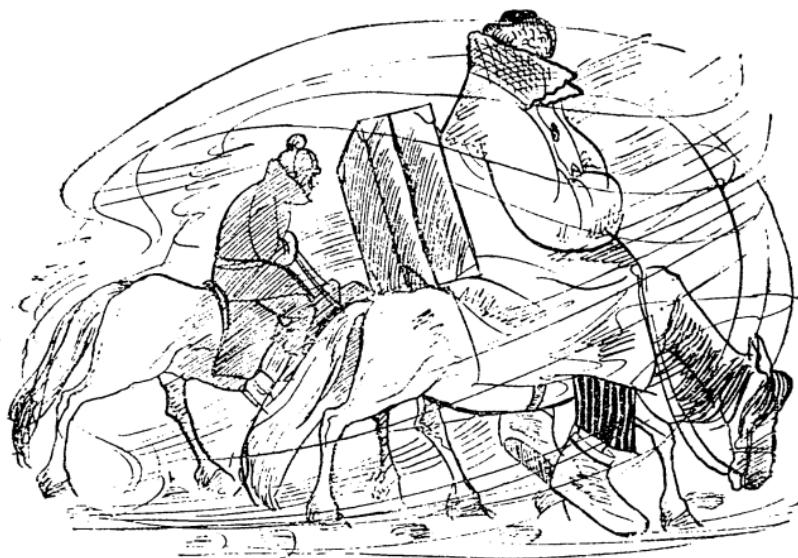
— Кишку, паровозную кишку! — кричал штабс-капитан. — Гляссе...

Но его никто не слушал.

И оставив профессора, он тяжело захлюпал по снегу к своей лошади. Шмербиус побежал за ним.

Через пять минут огненный паровоз налетел на задний вагон, взорвался, и грандиозный столб пламени, как фейерверк, взлетел в черное небо.

Я жарко обнял моего милого профессора.



## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

### Крест.

Мы третий сутки ехали верхом по занесенной снегом тайге меж высоких сосен и пихт. Длинные ноги профессора то и дело шаркали по снегу. За седлом, к крупу лошади был привязан его огромный чемодан, по счастливой случайности не тронутый разбойниками. Заморщенная лошаденка профессора еле двигалась. Ей достался непосильный груз. Я до сих пор не совсем понимаю, почему профессор ехал

на лошади, а не лошадь на профессоре — настолько он был силен и огромен, а она мала и тщедушна. Но он, бодрый, с красным, возбужденным лицом, беспрестанно понукал ее и ехал впереди всего отряда рядом с начальником карательной экспедиции, товарищем Сыроваровым. Милый профессор, как школьник, гордился огромной древней винтовкой, украшившей его могучую спину, и ежеминутно задавал ехавшему рядом с ним военкому тысячи вопросов. Но товарищ Сыроваров, как все сибиряки, был неразговорчив, и профессору приходилось довольствоваться собственными наблюдениями.

Мы уже третий сутки гонялись за разбойничьей бандой штабс-капитана Авсеенки. Враг уклонялся от боя и заводил нас все глубже в тайгу. Конские следы поднимались по почти неприступным скалам, опускались в непролазные лощины, кружились, путались, разъединялись и снова соединялись где-нибудь верст за сорок. Наш начальник внимательно вглядывался в каждый отпечаток и торопливо вел за собой растинувшийся на полверсты усталый отряд. Профессор тоже разглядывал следы копыт, но на это у него были совсем особые основания.

Несколько часов назад, когда мы с трудом поднимались по крутому косогору, с которого ветер смел весь снег и который был до того скользок, что лошади едва держались на ногах, профессор внезапно вскрикнул. Внизу у основания холма он увидел на снегу отпечаток лошадиного бока.

— Товарищ военком, — сказал он. — Когда они здесь проезжали, одна из лошадей поскользнулась и упала вниз. Не найдем ли мы там чего-нибудь?

Сыроваров немедленно распорядился. Усатый красноармеец слез с лошади и ползком спустился вниз.

Возвратясь, он рассказал, что, судя по следам, упавшей лошади удалось встать и, хромая, последовать за остальным отрядом бандитов. На месте падения он нашел клочок бумажки, очевидно, выпавшей из кармана всадника. Профессор вырвал ее у него из рук и, увидев мелкий прыгающий почерк, восторженно завопил:

— Славно же он хлопнулся!

— Кто? — спросил Сыроваров.

— Аполлон Шмербнус, — ликовал профессор. — Это его почерк!

— Кто он такой?

Он? Опаснейший враг человечества

— Что же он делает в банде Авсесенки?

— Он служит полковым цырюльником.

— А!.. — разочарованно протянул начальник карательной экспедиции.

Спустя несколько минут, профессор попридержал за поводья свою лошадь.

— Смотрите, Ипполит, — сказал он, когда я с ним поровнялся. — Вы видите эти следы?

— Вижу, — ответил я.

— Вы ничего не замечаете?

— Ничего.

Я пристально вглядывался в следы четырех самых обыкновенных копыт.

— Фу, какой вы не наблюдательный. Видите, как нечетко отпечатался вот этот след. Эта лошадь принадлежит на переднюю правую ногу. Следовательно...

— Ну?

— Следовательно, это та лошадь, на которой едет Шмербнус.

Теперь он интересовался только следами хромой лошади. Эти следы беспрестанно заводили его в сто-

рону, заставляя отбиваться от отряда, путали и сбивали с толку. Хромая лошадь, очевидно, отставала от других, и поэтому Шмербиус всюду старался проехать напрямик, сократить путь. И профессор, как добросовестный следопыт, заезжал в такие чащи, путался в таких дебрях, что лицо его было все исхлестано колючими еловыми ветвями.

К вечеру мы наткнулись на остатки лагеря. Бандиты были здесь всего несколько часов назад, и зола их костров еще не успела остывть. Товарищ Сыроваров хотел продолжать ногоню. Но наши лошади и люди были так измучены, что он решил остаться здесь на ночь.

— Только бы не было выюги, — говорил он профессору, косо поглядывая на небо. — А то заметет следы и — проишло. И на этот раз их не поймаем.

Но ночь была ясная, звездная, ветер улегся совсем, и усталые красноармейцы так охотно собирали хворост для костров, что ему было жаль уводить их в тайгу, в темноту. Палатки были мигом расставлены, затрещали костры, в котелках весело запрыгал горох, и мы с профессором улеглись, тесно прижавшись друг к другу и укрывшись тремя одеялами. Наконец все стихло, только изредка охал во сне красноармеец, переворачиваясь на другой бок, да фыркал лопатой. Часовые, чтобы не замерзнуть, переступали с ноги на ногу и с размаху били себя по бокам рукавицами.

— Профессор, — шепотом спросил я, — что написано в той бумажке, которую Шмербиус потерял, упав с косогора?

— Пустяки, — ответил профессор, просто мазня какая-то. Посмотрите сами, если хотите.

Он засунул руку в жилетный карман, вынул бумаженку и протянул ее мне. Я привстал и подо-

двинулся к костру. Это был листок из записной книжки, с обеих сторон мелко исчерченный отрывочными бессвязными фразами. На одной стороне было написано:

„Проба нера. Дюжина — 6 коп. Гросс — 72 к. Отверженому остается только одно: отвергнуть всех. Гениальность — это способность не останавливаться ни перед какими обстоятельствами. Я гений? Должно быть!“

Дальше была нарисована свинья во фраке, с задранным кверху пятачком и под ней подпись: „Свиньи страшно любят жизнь. Пример — профессор Зворыка. Но умные мясники режут их без зазрения совести и правильно поступают. Итого 7 р. 20 к.“.

На другой стороне Шмербиус довольно удачно нарисовал себя в виде чертика с рожками и длинным хвостом. Под этим подпись:

„Мир, ты меня не признал, так раскаивайся, безумный!  
Гибель тебе янесу, жаром дохну на тебя.

„Бритье — 15 к. Стрижка — 20 к. Ежиком — 25. Бриолин — 5 к. Одеколон — 5 к. Шампунь — 15 к. Еще раз, чтобы не забыть: знаки пути — крест, хвост, хобот, паук, решетка“.

— Профессор, — сказал я, прочитав всю эту белиберду, — что это за знаки пути? Какого пути? Нет ли здесь скрытого смысла? Уж не указание ли это, куда нам итти?

Но профессор ответил мне звонким храпом. Он крепко спал. И я, утомленный долгой дорогой, стал дружно ему подтягивать.

А на утро началось то же: кучка тощих, дышащих паром, лошадей, тайга, желтый мафорочный дым, сугробы по грудь, и тучный гигант-профессор, упрямо выискивающий следы хромой лошади.

На этот раз эти следы еще чаще уклонялись в сторону. Как будто Шмербиус что-то разыскивал. Профессор совсем загнал свою лошаденку, рысая по сторонам. Наконец, эти следы завели его так далеко, что он решил оставить их и вернуться к отряду.

— Ипполит, — сказал он, с трудом догнав меня. — По-моему, он раз'ехался с бандитами. Я это давно ожидал, потому что они для него — лишь случайные попутчики, не больше. А он поехал туда... где... тридцатого апреля... Одним словом, мы должны проститься с милым товарищем Сыроваровым и ехать за ним.

Профессор отговорился геологическими исследованиями. Сыроваров пожелал нам счастливого пути, набдил нас на несколько дней провиантом, предоставил двух лошадей, и мы расстались.

След Шмербиуса вел нас вверх по длинному, довольно пологому склону поросшего лесом холма. Путь был тяжелый, лошади по грудь проваливались в снег, густые заросли рвали нам платье, и мы, пыхтя, с трудом продвигались вперед. Было уже далеко за полдень, когда мы взобрались на вершину холма. Внизу расстилалась глубокая лесная долина, а по другую ее сторону виднелась гряда высоких, занесенных снегом гор. Снизу подымались легкие дымки — должно быть, там было селение, скрытое лесами. Следы хромой лошади вели вниз, и нам ничего не оставалось, как последовать за ней. Спуск был так крут, что я порой рисковал перелететь через голову моей лошади. Профессор подбадривал меня.

— Шмербиус от нас не уйдет, — говорил он. — Его измученной и хромоногой лошади приходится идти по непротоптанному снегу. Уж на этот-то раз мы

разделяемся с ним по-свойски. А тогда вернемся домой.

Он даже утверждал, будто видит Шмербиуса внизу, будто хромая лошадь так подкидывает своего седока, что тот не может прямо держаться в седле и наклонился вперед, обхватив ее шею руками, будто фалды Шмербиусова фрака вьются по ветру, как черные крылья. Но часы проходили за часами, а мы все также продолжали спускаться, следя за неровными отпечатками копыт и никого не встречая.

Начало уже смеркаться — зимний день короток — когда мы достигли дна долины. Здесь было теплее, и среди хвойного леса стали попадаться голые лиственничные деревья — ольха и береза. На их прутьях чернели огромные вороны гнезда. После целого дня и тути мы чувствовали себя бесприютно. Поднялся ветер, небо покрылось тучами, и профессор стал опасаться метели. Не трудно представить себе нашу радость, когда еле видные следы хромой лошади привели нас к бьющему из-под земли ключу. Ключ был почти занесен снегом, но его черная струя сохраняла еще теплоту земных недр и не замерзала. Мы, весь день утолявшие нашу жажду только снегом, спешились и подошли к воде. Очевидно, Шмербиус несколько часов тому назад сделал здесь то же самое, потому что снег на берегу ручья был утоптан. Вот здесь он сошел с лошади, здесь стал на колени.

— Смотрите, профессор, — сказал я, — видите нечай. Значит, тут побывали дровосеки. Должно быть, близко жилье.

Мы наспились, дали корму лошадям и уселись в снег отдохнуть. Мы поедем искать приюта, потому что итти по следам Шмербиуса в темноте невозможно, да и лошади наши были изнурены окончательно.

Профессор кормил с ладони мышей, продолжавших обитать у него в кармане, а я пытался сосновым сукком сбить ледяную кору, обленившую мои башмаки.

— Ипполит, — вдруг сказал профессор, — вы слышите, кто-то вздохнул.

Я прислушался и услышал явственный, тяжелый вздох совсем близко, почти над ухом.

— Кто здесь? — спросил профессор.

Ему никто не ответил.

Профессор снял ружье.

— Выходи! — крикнул он, — буду стрелять!

Но в ответ ему раздался такой же тихий, мучительный вздох. Он поднялся и стал дулом ружья раздвигать кусты вербы и калины, покрывавшие берег. И вдруг увидел больной желтый глаз, кротко плядящий на него.

— Ба! да здесь лошадь! — взволнованно вскрикнул профессор. — Это его лошадь! Он загнал ее до полусмерти и бросил.

Лошадь лежала на снегу, вытянув шею и ноги. Мокрая шерсть ее была сбита в клочья и дымилась. Снег подтаял под ее тушей, и она лежала в яме, тяжело вздыхая ребристую тощую грудь. Правая передняя нога ее была вывихнута и перевязана грязной тряпкой, должно быть, служившей Шмербиусу носовым платком.

— Ах, он скотина, — бормотал профессор. — ах, он мерзавец! Да, ведь, он замучил ее, загнал, убил. Бедная, бедная лошадка. Ипполит, дайте овса, я накормлю ее. Мы ей поможем, мы вылечим ее. Я отдаю ее здешним крестьянам, а на обратном пути возьму с собой в Питер.

Но лошадь не притронулась к овсу. Ее нижняя губа оттопырилась, обнажив белые зубы. Бел

глаза покрылся сеткой черных жилок. Нет, ей не дождаться возвращения профессора.

Было уже совсем темно, когда мы снова сели в седла. Небо казалось чрезвычайно низким и черным в сравнении с покрытою чистым белым снегом землей. Сильный порыв ветра раскачивал прутья кустов и понес клубы жесткой снежной пыли. Он заносил в бок хвосты и гривы лошадей, наугад пробиравшихся между стволов. За полчаса, проведенных у ручья, я успел остыть, и мне было зябко. Струйка холодного воздуха проникла через рукав за спину. Сверху начал падать редкий сухой снег.

Добраться бы скорее до жилья, — подымая плечи, сказал профессор.

Сносимый с лесных лужаек снег стал собираться в сугробы у корней деревьев, и лошади шли то по сыпучим горкам, то по хрупкому голому насту. Сосны, с высоко растущими ветвями, были илохой защитой. Ветер свистел то справа, то слева, колесами крутя снег.

Профессор ворчал, ворочался в седле, нетерпеливо прислушивался и присматривался, поминутно останавливая лошадь. Ему все предвещало близость жилья: и передние леса, и пни, и поломанные ветви. Он даже несколько раз утверждал, что чувствует запах дыма, слышит лай собак, и беспрестанно менял направление.

Я устал от четырехдневного сидения в седле, отряхивал с ресниц снег и безучастно ехал за профессором, смотря на его огромную спину, покрытую белой пеленой в два пальца толщины.

Моя лошадь заразилась моим безразличием и медленно плелась вперед, кивая в такт головой и беспрестанно дергая левым ухом, в которое забивался снег.

— Эй, чорт возьми, — донесся, наконец, до меня голос профессора. — Да, ведь, мы приехали к тому же самому ручью.

Действительно, мы все это время напрасно крутили. Я вспомнил, что выехали мы против ветра, а теперь уже давно ветер дует нам в спину. Перед нами снова черная струйка воды, у которой мы сидели час тому назад.

— А хромую лошадь снегом занесло — сказал профессор, въехав в большой сугроб. — Она издохла, вокруг живой снег пооттаял бы. Эх, бедняга!

Но мне теперь все равно. Лишь бы выбраться.

— Пустите поводья, профессор, — закричал я, почти не слыша своего голоса. — Лошади сами найдут дорогу.

Профессор кивнул головой, и лошади понуро потащили нас в белую зыбкую мглу.

Глаза мои слипались, и я, усталый и ко всему безучастный, не противился сну. Я закрывал глаза и видел тысячи черных точек на золотом поле. Эти точечки копошились, бегали, сростались друг с другом и превращались в сотни маленьких Шмербиусят, кривляющихся, злых и хвастливых. Но и эти Шмербиусы продолжали рости и сростаться, копошась в глазу, как черви в гнилой груше. Наконец, они все превращаются в одного Шмербиуса, и он шепчет мне, чавкая слюнявыми губами:

— Я засыплю тебя снегом... ш-ш-ш... Ты умрешь... ш-ш-ш... Не поймать тебе, не поймать...

Но тут лошадь моя запнулась о корень, я вздрогнул и открыл глаза. Черное, низкое небо вдруг исчезло, видны были белые косые линии падающего снега. В то время, как я вздрогнул, взошла луна, бросая свой свет сквозь неплотные тучи. Профессор

вместе с лошадью превратился в одно гигантское снежное чудовище, мерно покачивавшееся из стороны в сторону. Он молчит и не оборачивается. Должно быть, спит.

Лес начал редеть, к соснам все чаще примешивалась ольха и осина, лошади беспрестанно натыкались на бревна и кучи хвороста. Вот стало еще светлее, вот последние стволы и — невероятный порыв ветра чуть не выбил меня из седла.

Лес кончился, мы едем по бугристому, неровному полю.

— Профессор, да, ведь, это кладбище! — закричал я, увидев деревянные кресты, мужественно противостоящие метели. Рот мой был тотчас же доверху забит жестким, колючим снегом.

Профессор кивнул головой и что-то ответил, но вихрь унес его слова.

— Что? — крикнул я.

— Сейчас выберемся! — донеслось мне в ответ. Но как бы в насмешку над этими словами, лошадь профессора споткнулась о гробовую доску и упала. Профессор грузным кулем покатился в соседний сугроб.

И больше его лошадь не встала. Напрасно профессор звал ее самыми ласковыми именами, напрасно умоляюще гладил ее по шее, дергал ее за поводья и даже, разсердившись, кричал за нее. Профессор всегда был ласков с животными и не мог бить несчастную клячу. Да это было бы совершенно бесполезно, потому что четырехсугубочное плутание по лесам с таким многоцелевым грузом на спине окончательно издорвало ее силы. Моя лошадь подошла к ней и, опустив голову, остановилась.

— Поезжайте, Ипполит, поищите людей, — наконец, сказал мне профессор, отчаявшийся поднять несчастное животное, — а я подожду вас здесь.

Но и мою лошадь было невозможно сдвинуть с места. Я спрыгнул в снег и, едва передвигая отсиженные ноги, повел ее куда-то вперед, в свист и грохот, беспрестанно спотыкаясь о выступы могил. Я задыхался, я падал. кладбище казалось мне бесконечным. Да и как я снова найду профессора в этом движущемся, сыпучем, вертящемся мире? Продутав полчаса, я совершенно выбился из сил и окончательно отчаялся.

Вдруг сквозь летящую мглу я увидел что-то черное. Я сделал еще несколько шагов и наткнулся на остатки железной ограды. За ней каменная будка с круглой крышей. Э, да это старая разбитая часовня. Вход заперт и заметен снегом, но в окнах выбиты стекла, и мы сможем пролезть через них. Там, внутри, мы будем укрыты от бури. Надо скорее найти профессора.

На профессора я наткнулся почти сразу. Он сидел в десяти шагах от часовни, но не видел её. И столько времени плутал, прежде чем добрался до часовни, а она была всего в нескольких саженях. Увидев меня, профессор страшно обрадовался, потому что, чуть я ушел, он сообразил, что только случай может заставить нас снова встретиться в этом непролазном, мутном хаосе.

Лошадь его отказывалась встать. Мы положили перед ее мордой овса, засыпали ее снегом, чтобы она не замерзла, и побрали к часовне.

Влезть в окончко и протолкнуть туда чемодан было нетрудно. Моя лошадь осталась во дворе, призвизанная к решетке с подветренной стороны. Мы

очутились в круглой каменной конуре, пол которой был наполовину занесен проникшим через выбитое окошко снегом. Пол был земляной, лишь в середине была вбита каменная плита с высеченным на ней крестом. Часовня, видно, давно была запущена. Иконы вынесены, а остатки иконостаса грудой щепок лежали на полу. Окошко, обращенное против ветра, профессор завесил своей пелериной, а подветренное окошко служило выходом для дыма весело затрещавшего костра. Закутавшись в одеяла, мы сразу заснули.

На следующий день я проснулся первый. Профессор еще спал, широко раскинувшись и громко хранил. Костер потух, и холод был зверский. Я сложил в кучу последние остатки иконостаса и поджег их. Затем вылез в окошко, чтобы размять застывшие ноги и посмотреть, что стало с нашими лошадьми.

Спрятав с окошка в снег, я зажмурился от ослепительного света. Был морозный, тихий, солнечный день. Глубокий снег, покрывавший кладбище, сиял и вскрился. Сзади чернел лес, а впереди, вдалеке, подымались зубчатые горы.

Моя лошадь пропала бесследно. Сорвалась ли она с привязи или ее увезли — не знаю, но ни следа ее не мог я найти. От несчастной же лошади профессора остался один только окоченевший труп.

Но самым удивительным, самым ошеломляющим было то, что в двух шагах от меня начиналась людская городская улица с большими каменными домами. Проезжали извозчики, дворники сгребали снег, школьники шли в школу. О, чудесница-метель, как ты одурачила нас! Мы потеряли двух лошадей, выбились из сил, провели ночь на замерзшем, ледяном полу, в то время как под боком находился город с гостиницами, магазинами, конюшнями!..

Я кинулся в часовню к профессору. Он уже проснулся и, стоя на коленях, внимательно разглядывал стену.

— Профессор! — закричал я, спрыгнув с окошка в середину часовни, — здесь город, люди!

Но профессор даже не обернулся. Он продолжал разглядывать стену, беззвучно шевеля толстыми губами.

— Профессор, идемте, — продолжал я, — мы отлично позавтракаем, отдохнем.

— Какое вчера было число? — неожиданно спросил он меня.

— Второе апреля, — с удивлением ответил я: — но зачем вам это?

— Он был здесь за несколько часов до нас. А может быть даже за несколько минут!

— Кто он?

— Шмербиус!

— Где же он теперь?

— Он спустился.

— Куда спустился?

— Этого я не знаю. Посмотрите сами.

Я нагнулся и увидел надпись, нацарапанную карандашом на стене:

„Спустился 2-го апреля 192\* года, за 28 суток до гибели Земного Шара.

Аполлон Шмербиус“.

А под этим две черточки, пересекающие друг друга в виде креста.

— Вот и судите сами, — сказал профессор, — куда он мог спуститься. Эх, пакость какая, расписываться-то он любит, как все самовлюбленные люди; на каждой стенке Аполлон Шмербиус, с этаким

хвостиком выведет, а толком ничего не напишет.  
Куда он мог спуститься?

Я ударил себя по лбу.

— Вы помните, профессор, — закричал я, — что написано у него в записной книжке: знаки пути — крест, хвост, хобот, паук, решетка.

— Ну, так что же?

— Вот он, крест, видите под надписью. Он спустился под какой-то крест...



Профессор как полоумный кинулся к каменной плите, вбитой в середину земляного пола. На ней был высечен широкий крест.

Он должен быть там, — кричал профессор, стараясь руками зацепиться за край плиты, — в склепе! Под часовнями на кладбищах почти всегда бывают склепы, я совсем забыл об этом.

Он напряг все силы, охнул и вытянул из земли огромный камень. Под камнем оказалась глубокая черная яма, из которой пахнуло сыростью и теплом.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

### В земные недра.

— Могли бы вы отравить свою мать, которая родила и воспитала вас? — взволнованно спросил меня Звонька.

— Что вы, профессор! — вскричал я. — Что за странный вопрос? Матери у меня, к сожалению, нет, она умерла, когда я был еще совсем маленький, но если бы она была жива, я бы ухаживал за ней и оберегал ее.

— Нет, послушайте, Ипполит, могли бы вы зарезать друга, который был вам всегда верен и во всем помогал вам? Подкрасться к нему ночью и --- чик! перерезать ему горло?

— Профессор, вы, должно быть, считаете меня очень дурным человеком. Вы подозреваете меня в подлых и низких поступках. Право, я не знаю, чем заслужил я такое мнение.

— Нет, ответьте мне, Ипполит, — продолжал он срывающимся от негодования голосом. — могли бы вы выкрасть у меня из кармана бедных беззащитных мышек, которых я люблю, как собственных детей, и, скав между пальцами их нежные, хрупкие шейки, злодейским образом задушить их?

Гнусные подозрения профессора возмутили меня. Я так полюбил его, я так его слушался, я так старался быть ему полезен, а он, оказывается, считает

меня способным на самые позорные поступки! Слезы выступили у меня на глазах.

— Профессор, — сказал я, — я не стану отвечать вам на ваши вопросы.

— Не обижайтесь, Ипполит, — сказал Зворыка, кладя мне на плечо свою тяжеловесную ладонь. — Я не хотел сердить вас. Я знаю, что вы отважный, добрый, прямодушный мальчик. Вы доказали это всем вашим поведением. Я говорю не о вас. Я говорю о нем. Нет такой гнусности и подлости, на которую он не был бы способен.

— Кто он?

— Шмерблюс.

Мы спускались по ржавой железной винтовой лестнице в какой-то затхлый, сырой погреб. На груди у нас висели электрические фонари, бросавшие яркие круги на заплесневелые стены ямы. Фонари эти предуморительный профессор извлек из своего неистощимого чемодана. Я шел впереди. Каждый новый поворот лестницы уводил нас все глубже и глубже.

— Какое право имеет он отнять у меня землю, на которой я вырос, солнце, которое ласкает меня, воздух, которым я дышу, — продолжал профессор. — Когда я вижу муравья на дороге, я стараюсь нечаянно не раздавить его, а он собирается раздавить всех муравьев, всех животных, всех людей. И подумать только, что это бездарное ничтожество считает себя к тому же гением! О, простофилия! Гений заключается в том, чтобы строить, созидать, возвышать, а он способен только на разрушение...

Профессор продолжал, как закипающий чайник, взволнованно бормотать под нос негодующие фразы, когда я коснулся ногой каменного скользкого пола. Здесь было тепло, как в комнате. Большие водяные

капли через равные промежутки времени срывались с потолка и шлепались в пол. Я поднял фонарь и увидел низкие каменные своды, под которыми убегали в темноту два ряда гробов. Гробы стояли на каменных подставках одинаковой высоты и были, как причудливой бахромой, покрыты беловатой, липкой плесенью. Мы медленно пошли между гробами, тряхиваясь от падающих капель.

— Фу, чорт возьми! — вскричал вдруг профессор, сперевший меня на несколько шагов.

— Что с вами?

— Я вступил в лужу, и у меня полный башмак воды.

Он стал на одну ногу и принялся снимать прогнивший башмак. Направив фонарь вперед, я увидел, что дальнейшая часть склепа залита водой. Судя по тому, что каждый следующий гроб сидел в воде глубже предыдущего, я понял, что пол склепа понижается.

— Стоит ли итти дальше? — спросил я профессора. — Мы доберемся до противоположной стены, и нам придется повернуть обратно — только и всего.

— Не беспокойтесь, не придется, — хмуро ответил профессор, выливая из башмака воду и снова надевая его. — есть другой выход.

— Откуда вы знаете?

— Видите, как каплет с потолка? Этот склеп так глубок и вырыт в такой сырой почве, что давно превратился бы просто в грязный колодец, если бы не было стока воды. Сток этот находится там впереди, и через него мы выйдем отсюда.

Но как перейти эту широкую лужу? Я выбрал единственный возможный путь — вскочил на гроб, с него перепрыгнул на второй, со второго на третий.

Профессор, следуя моему примеру, тоже вскочил на гроб, но гроб хрустнул и продавился под ним. Боясь раздавить мертвеца, профессор молниеносно прыгнул на второй гроб, но тот тоже хрустнул и тоже продавился. В бешенстве помчался он по гробам, давя каждый, как ореховую скорлупу. Я, не желая дать ему перегнать меня (тогда мне пришлось бы прыгать уже прямо по трупам), собрал все силы и полетел вперед. Свет наших фонарей заметался по стенам, и в мутной воде отразился расплывчатый образ грузного, в ужасе скачущего гиганта.



Через минуту мы, запыхавшиеся, остановились на последнем продавленном гробе перед перегородившей нам дорогу стеной.

Профессор оказался прав — сток был. В стене чернела дыра аришина два в диаметре, в которой булькал ручеек.

— Разувайтесь, Ипполит, и лезьте вперед, — сказал профессор. — Я поползу за вами.

Как ни неприятно это было, а пришлось разуться, привязать сапоги на спину и ползть в воду. К счастью, вода была совсем теплая. Она доходила мне почти до колена. Я, низко нагнувшись, полез в дыру первым.

Професору пришлось встать на четвереньки. На его широкой спине, словно огромный горб, лежал чемодан, делавший его похожим на от'евшегося верблюда.

Но пещера, в глубь которой мы подвигались, становилась все шире, все выше, и скоро мы смогли выпрямиться во весь рост. Немноговодный ручеек теперь не занимал уже всего пола, с обеих его сторон выступали берега. Мы с облегчением вылезли из воды и обулись.

— Этот ручеек, — сказал профессор, — течет по скату подпочвенного глиняного пласта, который не дает воде просочиться глубже в землю. Посмотрите, какую широкую дорогу прорыл он себе.

Действительно, наш подземный ход был теперь широк и просторен. Гигантской извилистой трубой, нестепенно опускающейся все глубже, прорезал он земные недра.

Мы быстро шли вперед. Сон в часовне укрепил нас, и мы чувствовали себя отлично. Профессор был как-то особенно говорлив и патетичен.

— Ручьи и реки — кровеносные сосуды земли, — говорил он. — Вода — это кровь земли. В ней жизнь. Она днем и ночью, зимой и летом льется по миллиардам артерий, все колебля, все изменяя, все оживляя. Она скромна и неприхотлива. Течет из трещинки в трещинку, тащит за камешком камешек, выры-

вает глубокие реки и наносит безграничные равнины. Ей нет преград, она журчт- журчт и проникает повсюду, жизнь ведя за собой. Раньше на земле царил огонь. Это было буйное, но мертвое царство. Груды на груды громоздил он и потом бросал на произвол судьбы — безжизненными, безобразными, голыми. И тогда приходила вода. Она все сглаживала, все спрашивала, все приводила в порядок. Камни отшлифовывались, горные крутизы сменялись отлогими скатами, долины одевались зеленью и туманами. Всюду она поспевала — умоет, напоит, пригладит. Тук-тук-тук! стучит она, буль-буль-буль! булькает, работа ее тиха и незаметна, а созидает она гигантов. Вот так и человек. Из года в год, из столетия в столетие трудится он, напоенный водой, идя по водным путям, во всем подражая воде и, как вода, всюду неся жизнь и устройство.

Он задумался, низко опустив голову. Несколько минут мы шли в полном молчании. Но вот глаза его сверкнули, и он тряхнул золотыми волосами. Снова полилась его возбужденная речь.

— Он хочет вырвать землю из-под власти воды и кинуть ее в об'ятия пламени. Он хочет вырвать ее из рук жизни и бросить в подарок смерти. Он зол — и он ненавидит нас за то, что мы добры. Он урод — и он мстит нам за свое уродство. Он мечтает обрушить наш влажный, наш благоухающий, наш трудолюбивый рай в адское пламя...

Я знал, что, если профессор начнет говорить о Шмербиусе, он кончит не скоро. Я привыкал к его речи, как к журчанию ручья. Мне начинало казаться, что передо мной мелькает Шмербиус в виде узкого, тонкого вертлявого язычка пламени. Вот он сейчас, потрескивая, налетит на профессора, который вовсе

не профессор, а просто большой прозрачный водяной пузырь, и они оба с шипением исчезнут, взлетев к сводам туннеля в виде легкой струйки пара...

Глинистая почва у нас под ногами сменилась жестким песком. Кристаллы мутноватого кварца, огромные, с резко очерченными гранями, торчали из стен в потолка. Они вспыхивали при нашем приближении. Казалось, что подземные духи освещали свой дворец для приема гостей.

— Великолепно! Да вы посмотрите! — прервал я профессора.

— Великолепно, — соглашался он, невидящими глазами смотря по сторонам. И снова продолжал свою страстную речь.

Теперь туннель был настолько широк, что два вела могли бы свободно разъехаться в нем. Наклон очень увеличился, и наш тихий ручеек превратился в бурную горную речечку, ниспадающую бесчисленными водопадиками. Мы почти бежали, все под гору, не останавливаясь и не оглядываясь назад. И с разбега налетели на гранитную стену, перерезавшую нам путь.

— Это еще что такое? — вскричал я. — Куда же нам итти?

— Мы пойдем туда, куда нас поведет ручей, — сказал профессор.

Осмотрев пол, мы нашли отверстие, диаметром не больше аршина. В это отверстие падал наш ручеек. Ширина была совершенно отвесна и так глубока, что шум падающей воды казался далеким, едва слышным плеском. Я направил в нее мой фонарь, но увидел только гранитные, уходящие в темноту, стены. У меня закружилась голова, и я отпрянул.

Что нам делать? — спросил я.

— Спуститься! — ответил профессор.

— Это невозможно!

— Спустился же Шмербиус.

Да, Шмербиус как-то спустился. Для него нет ничего невозможного. Но мы — обычные люди и не можем безнаказанно прыгать с высоты двенадцатого этажа.

Профессор раскрыл чемодан, поднял его и вытряхнул на каменный пол весь наш запас чистого белья.

— Что вы делаете, профессор? — вскричал я.

— Раздевайтесь! — был лаконический ответ.

— Зачем?

— Раздевайтесь, увидите.

Я послушно стал раздеваться. Он тоже разделся до-гола и свалил всю нашу одежду в одну кучу с чистым бельем. Потом нагнулся и стал связывать в длинную гирлянду полотенца, рубашки, фуфайки, шиджаки и другие принадлежности туалета.

— Ровно восемь сажен, — сказал он, окончив работу и измерив руками гирлянду. — Между концами моих вытянутых рук — сажень. — Он взял свой самодельный канат за один конец, а другой спустил в пропасть.

— Вы не дурной акробат, Ипполит, и весите немного, — продолжал он. — Берите фонарь и лезьте на разведки.

С фонарем на голой груди я соскользнул в бездонную яму, держась за связанные тряпки и ежась от холода брызг стремительно падающего рядом со мной ручья. Когда руки мои ослабели, я сел на узенький выступ скалы.

— Что случилось? — спросил меня сверху профессор, страшно взъерошившийся, почувствовав, что ~~кашет~~ ослабел в его руках. Голос его, отраженный

стенами колодца, загремел, как труба. Он уже не видел меня.

— Отдыхаю! — ответил я.

— Вы ничего не видите?

Я глянул вниз. И увидел чуть заметное мерцание. Будто жидкое пламя переливалось на дне пропасти.

— Там огонь! — закричал я.

— Чепуха! — ответил профессор. — Если бы наш ручеек падал в огонь, вся пещера была бы полна заром.

Отдохнув, я полез дальше. Шлеск падавшего ручья становился все слышнее. Колодец, в котором я висел, настолько расширился, что я не мог достать до стен, и, наконец, потерял их из виду.

Я повис над поверхностью широкой подземной реки. Ее мерно плащащие волны сияли настолько сильным фосфорическим блеском, что во всей пещере царил полусвет. Эту светящуюся воду я принял за пламя. Пещера, в которой протекала река, была необычайной ширины. Я едва различал берега, усыпанные белым песком. Но свод был сравнительно не высок — не выше двух сажен над уровнем воды. Я добрался до конца каната и висел как раз на одном уровне со сводом. Ручей падал сверху прямо в середину реки.

— Ну, что? — донесся до меня едва слышный голос профессора.

И, насколько умел короче, прокричал ему все, что видел.

— Вы можете прыгнуть в воду? — спросил он меня.

— Пожалуй, смог бы.

— Так прыгайте!

— А как же вы?

— Обо мне не беспокойтесь. Прыгайте!

Я пережил несколько неприятнейших секунд. А что, если река эта очень мелка и я расшибусь о каменистое дно? Что если какое-нибудь неведомое чудовище, обитающее в этих таинственных водах, поглотит меня? Но делать нечего, пришлось решиться и прыгнуть.

Вода с плеском раздалась и поглотила меня. Долго погружался я в жидкое струящееся золото. И, наконец, коснулся ногами несchanого дна. Фонарь продолжал гореть и под водой и я увидел гигантских рыб, плавающих над самой моей головой. Не желая испытывать судьбу, я взмахнул руками и выплыл на поверхность. А через минуту, чихающий и отфыркивающийся, сидел на берегу и ждал профессора.

Вот из дыры в своде показались его американские ботинки на голых ногах (брюки пошли на устройство каната), вот он весь с пустым чемоданом за плечами, как гигантская люстра висит над сияющим водным паркетом. Он направил мне в лицо свет своего фонаря и приветствовал победным криком.

— Как вы укрепили верхний конец каната? — спросил я.

— Я придавил его десятипудовым камнем!

— А как вы заставите спуститься наше белье?

— Не беспокойтесь, оно само упадет к моим ногам. Я завязал узлом шерстяную рубашку. Когда я отпушу канат, этот узел, благодаря упругости шерсти, сам развязется. Мы под камнем потеряем только одно полотенце.

Он прыгнул, и действительно, все наше белье вслед за ним скользнуло в воду. Взмахнув ручищами, он ногнался за ним, оставляя позади длинный сияющий след.

Но вот белье поймано, и он, увешанный тряпками, со сбившимися мокрыми волосами, похожий на Нептуна, вылез на берег.

— Уф,— сказал он и сбросил с плеч чемодан (в чемодане сидели обе его мыши-- Тарас и Гретхен). — Теперь можно и отдохнуть.

Мокрое белье для просушки мы разложили на прибрежном песке.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

### В каменном лабиринте.

— Посмотрите, это еще что за пещера? — сказал профессор.

Мы только что встали и насились кофе, который профессор сварил с помощью электрической спирали. Теперь мы, чтобы размять ноги, прогуливались по берегу подземной реки. Профессор был в благодушнейшем состоянии духа и несколько не сомневался в успехе нашей экспедиции. На плечах его сидели мыши. Через четверть часа мы должны были выступить в путь.

Мы стояли перед широкой щелью, черневшей в гранитной стене.

— Подождите минутку, профессор, — предложил я: — я пойду и исследую эту пещеру.

— Не стоит, — сказал профессор, — зачем вам утомляться? Нам предстоит сегодня нелегкий путь.

— Я сейчас же вернусь, — вскричал я и вступил в темный коридор.

Через несколько шагов коридор повернул направо. Потом налево. Во все стороны от него отходили все новые ходы. Эта была бесконечная сеть извилистых длинных пещер.

Минут пять я храбро шел вперед. Но, не находя ничего интересного, я вспомнил совет профессора не утомляться и повернулся обратно.

Откуда я пришел сюда — из правой или из левой галлереи? Состояв немного в нерешительности, я повернулся направо. Через несколько шагов туннель снова раздвоился, и я опять остановился. Но через минуту я храбро шагал вперед. Вот-вот сейчас передо мной блестят сияющие воды реки. Чтоб не волновать профессора, я бегу и решительно делаю поворот за поворотом. Но реки все нет!

Может быть, я повернул не в ту галлерею? Они все чертовски похожи одна на другую. И я бегу назад. Неужели я окончательно сбился с пути? Бедный профессор, как он, верно, беспокоится. Я сейчас выйду: вон там, за поворотом река.

Но снова туннель за туннелем, и я начинаю чувствовать, что выбиваюсь из сил.

— Профессор! — во всю глотку кричу я.

Голос мой гудит, грохочет и теряется в этих бесконечных переходах.

— ...Эссар! — на разные лады отвечает мне эхо, — ...ссар! А-а-а! О-о-о! У-у-у!

Тревога овладевает мною. Я уже не слежу за поворотами, а прямо бегу, куда попало, надеясь случайно выбраться на берег реки.

Часы проходят за часами, силы оставляют меня. Я сле волочу ноги. И наконец в изнеможении падаю на гранитный пол.

Но отчаяние не дает мне лежать. С диким воинством вьдываюсь я на ноги и иду вперед, упираясь руками в стены. И снова падаю, и снова встаю, и так час за часом. Наконец, силы окончательно оставляют меня. Ноги отказываются двигаться. Я ложусь и широко раскрытыми от ужаса глазами смотрю в бледное пятно света, которое бросает фонарь на гранитные своды моей тюрьмы.

Что ждет меня здесь? Мучительная голодная смерть. Ах, зачем я не послушался профессора и полез в эту ловушку! Я сидел бы теперь с милым моим другом на берегу светящейся реки, пил воду, сколько захочу, жевал сухари, слышал бы постоянно человеческий голос, а не лежал бы на гранитном полу, одинокий, без пищи, без воды, без надежды.

Какая здесь гнетущая тишина. Такой тишины, как под землей, нигде не бывает. Там, на поверхности, трава шелестит беспрестанно, море вечно плещет, ветер вечно поет, зыбаются пески, шумят дожди, хрустят снега. А здесь, в моей каменной просторной могиле так тихо, что падение песчинки казалось мне грохотом поезда. Миллионы пудов гранита висят надо мной. Мне душно от их гнетущей тяжести.

Сколько времени я пролежал — не знаю. Должно быть, не мало часов. Мысли оставили меня. Я, вероятно, спал, хотя, впрочем, не помню, как я заснул.

Пришел я в себя от прикосновения чего-то теплого и мягкого к моей щеке. Маленький пушистый комочек перекатился по моему лицу, докатился через все тело до ног, и снова вернулся к щеке. Я приподнялся на локте и направил свет фонаря на дерзкого нарушиеля моего предсмертного покоя.

О, что за новаждение! На гранитном полу, рядом со мной, сидит хорошенькая черноглазая Гретхен, мышка профессора.

— Здравствуй, Гретхен! — говорю я (может быть, и не говорю, а только думаю; в этой тишине мысли мои казались мне громче самого громкого крика). — Выведи меня отсюда. Тебе, которой известны все переходы чердаков, подвалов, амбаров, ничего не стоит разобраться в этом каменном лабиринте. Спаси меня, Гретхен, мне так не хочется умирать.

Гретхен сидит возле фонаря и чистит лапками свой розовый носик. Потом подходит к моему лицу и лизнет нежным язычком мочку моего уха. Мне кажется, что она тихо шепчет мне:

— Я с тобой, друг моего друга, и я не дам тебе погибнуть. Скоро все несчастья кончатся, и мы заживем вчетвером: я, Тарас, профессор и ты.

Но куда ты, милая, постой! Я вскочил на ноги и, шатаясь от усталости и жажды, погнался за мышью.



Она бежала гораздо быстрее меня, но всякий раз останавливалась, чтобы дать мне возможность догнать ее. Уверенно поворачивала она то вправо, то влево. Коридоры изгибались, раздваивались, расходились и снова сходились. Но она ни разу не остановилась в сомнении перед поворотом. Верное чутье жительницы подполья не могло обмануть ее. Скоро мы вышли в туннель, по дну которого бежал быстрый прохладный ручей. Я утолил жажду, намочил лоб

и сразу почувствовал себя окрепшим. Дальше мы  
шли вдоль ручья, и через час я увидел впереди слабо  
мерцающий свет.

Я снова был на берегу светящейся реки. Но теперь  
я вышел к ней совсем в другом месте — гораздо  
ниже. Она здесь была шире вдвое. И берег её зарос  
причудливым необычайным лесом.

Деревьев в этом лесу не было. Вместо деревьев  
здесь росли грибы — самые обыкновенные грибы, вроде  
подберезовиков. Необычайны были только их размеры.  
Ствол их был вышеиной в два человеческих роста,  
а шириной — в три обхвата, как ствол дуба. На каждой  
шляпке можно было танцевать.

Вслед за моей маленькой спасительницей, я вошел  
под их прекрасную сень. Здесь было сыро и пахло  
илесенью. Освещенный рекою свод пещеры виднелся  
через отверстия между шляпками грибов. Отверстия  
эти имели форму остатков тонко раскатанного теста,  
из которого стаканом были вырезаны корички.

Я скоро увидел профессора, сидящего на камне  
возле воды. Он кинулся мне навстречу и, кулачищами  
растирая слезы по своему красному опухшему лицу,  
давясь от еле сдержанных рыданий, проговорил:

Я здесь... ох... без вас... ох... нашел... ох...  
второй знак нути...

И он указал на иссохший ослиный хвост, привя-  
занный к стволу гриба грязным носовым платком, на  
котором была вышита графская корона и метка А. Ш.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

### Х о б о т.

— Как вы думаете, Ипполит, не захватить ли нам с собой в дорогу такой гриб?

— Помилуйте, профессор, да мы с вами и трех шагов его не протащим.

— Не бойтесь, нам не придется его тащить, он сам нас потащит на себе.

С этими словами профессор влез на ствол, и, орудуя кухонным ножом, принялся срезать шляпку гриба. Она сначала съехала на бок, потом сорвалась, покачалась и шлепнулась возле самой воды внутренней стороной кверху.

Профессор схватил меня за шиворот, поднял и кинул в мягкую грибную подушку. Через секунду рядом со мной шлепнулся чемодан. Затем профессор стащил шляпку в воду и сам вскочил на нее. Наш плот закачался на светящихся струях.

— Ура, поехали! — вскричал он, чрезвычайно довольный своей выдумкой. — Так будет спокойнее и быстрее.

— Скажите, профессор, — спросил я, — отчего здесь так пышно разрослись грибы, а травы, цветов и деревьев совсем не видно?

— Потому что для травы и деревьев нужен солнечный свет, а грибы могут расти и в темноте. Сырые, плодородные берега этой реки отданы в их безраздельное владение, и вот они растут велики и могучи.

После того, как мы выполним главную задачу нашего путешествия, я поведу в эти пещеры научную геологическую экспедицию. Здесь могут быть интереснейшие представители не только растительного, но и животного царства.

— Воды этой реки кипят жизнью, — заметил я.  
— Почем вы знаете?

Я рассказал профессору о тех рыбах, которых я увидел, прыгнув в воду.

— Вот и отлично! Значит мы можем заняться ужением. Я безумно люблю удить рыбу. Летом я каждый вторник езжу на Охту и ловлю рыбу в Неве. Но там рыба самая обыкновенная — корюшка, салака, окуньки. Вот здесь, должно быть, чудеса. Надо сейчас же

сделать лесу и крючок. За паживкой дело не станет — этот гриб довольно червивый.

Профессор скрутил двойную нитку, привязал к ней изогнутую булавку, а на булавку насадил большого жирного червя, найденного в том месте, где плянка гриба прикреплялась к ножке. Палки для удочки



не было, поплавка тоже, но профессор заявил, что это предрассудок, и без палки клюет отлично.

Действительно, клюнуло почти сразу. Профессор с торжеством вытащил из воды наш круглый плот здорово

венную рыбину фунтов в пятнадцать весом. Сорвавшись с крючка, она запрыгала по грибной шляпке, светясь, как электрический фонарь. Но я поймал ее за хвост и протянул профессору.

— Это что-то вроде белуги, — сказал он. — Порода со сих пор неизвестная. Смотрите, вся ее голова закрыта светящимися точками. Она сама освещает тебе путь в этих водах, не знающих солнечного света. Я открыл ее, и в честь меня она будет называться латыни „*Zvorykius*“.

Он положил „зворыкиуса“ рядом с чемоданом, снова забросил лесу в воду. Следующая рыба была прозвана в мою честь „*Hippolitus*ом“. Она не светилась, но зато была совершенно лишена глаз. Затем рыбы пошли одна за другой. Профессор переназывал их именами всех своих знакомых и родственников.

— Ну, теперь хватит, — наконец, сказал он. — Ипполит, варите уху.

Мы плыли по самой середине реки. Круглая шляпка гриба, служившая нам плотом, медленно вращалась вокруг своей оси, и, благодаря этому, мы, не поворачивая головы, могли видеть все, что делалось вокруг нас. Черные стены пещеры то подходили к самой воде, то уходили так далеко, что мы теряли их из виду, а на широком плоском прибрежье рос грибной лес.

Река мало-по-малу расширялась. Бесчисленные ручьи впадали в нее справа, слева и сверху. Только в подземную реку ручьи могли впадать прямо сверху. Это ее неприятнейшая особенность. Путешественника, плывущего по наземной реке, не окашивают, как нас, на каждом шагу стремительные души, грозящие потопить плот. Однажды мы чуть не угодили под поток кипятка, в клубах пара свергнувшегося на середину

реки. Нас пронесло в двух шагах от него, и мы отделились легкими ожогами от брызг.

Уха вышла на славу. Профессор с'ел полный котелок. Он был чрезвычайно доволен нашим плаванием. Действительно, если не считать постоянного вращения гриба, от которого слегка кружилась голова, мы ни на что не могли пожаловаться. Как приятно лежать на спине, смотреть в каменный потолок и ничего не делать. Треволнения нашего путешествия утомили нас, и отдых был очень кстати.

Одно тревожило профессора: правильно ли мы едем?

Ночем мы знаем, — говорил он, — что Шмербнус держался все время течения этой реки? Здесь так много боковых коридоров и пещер. Он мог пройти вот этим путем и вот этим!

И профессор тыкал пальцем в черные трещины скал.

Особенно забеспокоился он, когда мы увидели, что река впереди раздваивается. Два почти равных потока уходили — один вправо, другой влево. Скалистый мыс разделял их, а от мыса далеко врезалась в воду песчаная отмель.

Течение становилось все быстрей и бурливей. Нас быстро несло к отмели, а мы, удивленные, во все глаза смотрели на странную скалу, возвышавшуюся на ее конце.

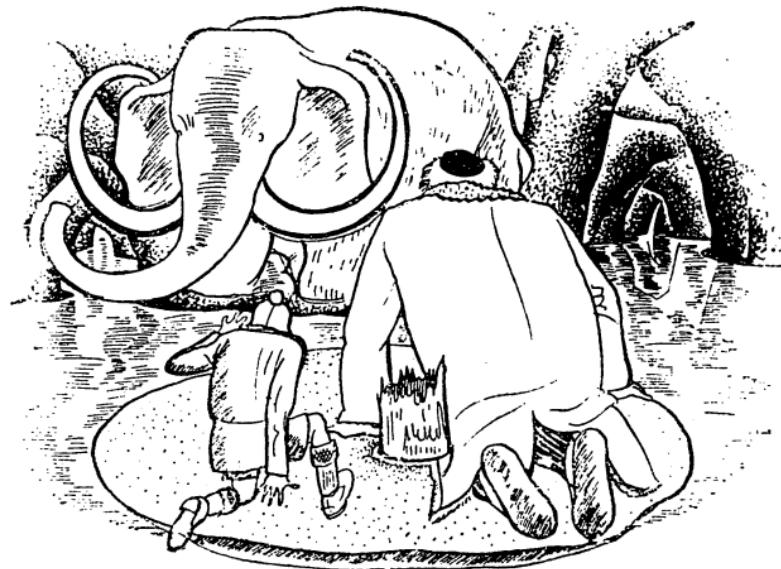
Впрочем, что я говорю. Разве это скала? Это косматое, клыкастое чудовище, ноги которого подобны столетним дубам, а туловище — целая гора.

— Мамонт! — вскричал я.

— Мамонт! — повторил профессор.

Это был мамонт. До половины зарытый в землю, он стоял на мысу между обоими руслами, положив

ушастую мохнатую голову на согнутые колени передних ног. Желтые клыки были изогнуты, как турецкие сабли. Исполинский хобот он вытянул вперед, в сторону левого русла. Вот-вот страшный зверь сейчас затрубит, гулом наполнив пещеры, и вступит в сияющие струи раздвоенного потока.



Но минута проходила за минутой, мы все приближались, а он не двигался. Казалось, он был врыт в землю так же твердо, как все эти камни и скалы.

— Что, он спит? — спросил я.

Профессор улыбнулся.

— Нет, он каменный.

— Кто же мог сделать такую удивительную, такую точную статую, и как она могла попасть сюда?

— Статую эту сделала сама природа. Этот мамонт был когда-то живым. Его занесло песком, который

несколько тысячелетий давил его своей тяжестью, и вот — он окаменел. А потом этот подземный поток, прокладывая русло, разрушил его могилу и выбросил камений труп на свой берег.

Наш плот, плавно вращаясь, под ехал к мысу. Теперь я мог сам убедиться, что профессор прав. Из боков доисторического гиганта торчали бурье камни. Голова его была вся в дырах, ямах и выступах — от этого она казалась косматой. Только его вытянутый розовый хобот, как будто высеченный искусством резцом ваятеля, был тонок, прям и невредим.

— Куда ехать? — спросил я профессора, когда нас вынесло течением к подножию чудовища. — В левое или вправо русло?

— Третье слово: хобот, — сказал профессор. — Мы поедем туда, куда показывает хобот.

И мы пошли по волнам левого русла. Через минуту мамонт скрылся за поворотом. Здесь кончилась мирная часть нашего путешествия. Беды и опасности ждали нас впереди.

Пещера становилась все уже и ниже. Течение усилилось, волна напирала на волну. Появились барабанки. И вместе с усилившимся течением быстрее завертелся наш круглый плот.

Карусель приятна только несколько первых минут. Потом начинаются тошнота, головокружение, рвота. Мельканье стен утомительно. Мы плыли уже четырнадцать часов. Я предложил профессору выйти на берег. Лучше тащить чемодан на себе, чем испытывать такие муки.

— Это невозможно, — сказал профессор.

— Почему?

Берега нет.

Действительно, пещера до того сузилась, что река едва помещалась в ней. Прямо из воды выростали отвесные черные стены. Мы были в узкой трубе, наполненной бурлящей водой. Течение усиливалось с каждой секундой. Ветер играл растрепанными волосами профессора. Нам оставалось только одно: сидеть на плоту и ждать.

А пещера с каждой минутой становилась все уже и уже. Вода, спретая с обеих сторон гранитными стенами, бешено клокотала. Свет ее настолько усилился, что мы потушили фонари. Наш круглый плот вертелся теперь с такой скоростью, что у меня рябило в глазах.

— Двенадцать оборотов в минуту, — сказал профессор.

Свод тоже чрезвычайно понизился, и мы инстинктивно пригибали головы. Ветер свистел в ушах. Стен нельзя было рассмотреть, мы мчались с неистовой быстротой. Чтобы избежать головокружения, я смотрел в лицо профессору — оно крутилось вместе со мной и казалось единственным неподвижным местом в этом вертящемся мире.

Через час мы услышали далекий нестройный гул. Гул этот рос, лез нам в уши, томил нас, все заглушал.

Я наклонился к профессору.

— Что это?

Он не ответил.

Пороги? — спросил я.

— Хуже.

— Водоворот?

Хуже.

Так что же! — в смертельном ужасе прокричал я ему в ухо. — Неужели водонад?

Он молча кивнул головой.

Гибель наша неотвратима. Еще минуту, две, три— и мы рухнем в бездонную пропасть. О высоте водопада можно было судить по быстроте течения реки.

Теперь мы делали двадцать семь оборотов в минуту. Центробежная сила срывала нас с жалкой грибной пляшки и тянула в бушующие волны. Мы легли на животы и впились пальцами в мягкую поверхность гриба, покрытую углублениями, в которых помещались споры. Гриб черпал воду краями, над нами перекатывались волны. Голова моя превратилась в многощупловую гарю, в глазах замелькали синие круги, меня беспрестанно тошило. Вымокшие, выбившиеся из сил, в ужасе внимали мы все приближающемуся шуму водопада.

Мало-по-малу пещера расширилась, но вода продолжала клокотать непрежнему, вздымая гребни волн к самому потолку. Со дна реки то там, то здесь подымались черные, зубчатые скалы, возле которых ненависть неистовые водовороты. Мне казалось, что я уже вижу впереди ту роковую линию, за которой зияет преисподний.

Профессор встал во весь рост. Голова его ушла под самые своды, и я боялся, как бы он не раскроил ее о гранитные выступы. Ноги его разъезжались, вращательное движение гриба грозило сбросить его в воду. Но он каким-то чудом не упал. Крепко схватив меня за руку, он подождал, пока плот наши поровняется с огромной черной скалой. Подняв чемодан, он кинул его на скалу. Потом прыгнул сам. Моя рука чуть не выскочила из сустава. Он шлепнулся на скалу животом. Я упал рядом с ним в воду. И вода стала засасывать меня вглубь. Но профессор крепко держал мою руку и, напрягши все силы, втащил меня к себе на скалу.

И, стоя на скале, мы увидели, как наш плот перевернулся и рухнул в бездну. До пропасти было не больше сорока шагов.

Профессор поднял меня высоко над головой и запрыгал со скалы на скалу, балансируя над кипящей, брызгущей пеной.

Минуту спустя, мы в изнеможении упали на прибрежный песок.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

### Чудовище подземных переходов.

Я долго спал, но сон мой был беспокойен. Кошмары томили меня. А когда я проснулся, эти кошмары продолжали одолевать меня наяву.

Шум водопада сразу напомнил мне плаванье на вращающейся грибной шляпке, и я снова почувствовал тошноту. Скорей бы выбраться из этих ужасных гравитиных теснин. И я пробую встать на ноги.

Но ноги мои не повинуются мне. Руки тоже. Даже головы я не могу повернуть. Весь я связан, обмотан, окручен крепкими, линкими нитками. Здесь ли профессор? Как я ни пробую скосить глаза, я не могу увидеть его, хотя он лежит рядом со мной.

— Профессор! — говорю я, с трудом отрывая нижнюю челюсть от верхней.

— Вы живы. Ипполит? — сираивает он меня.

— Право, затрудняюсь вам ответить, профессор. Должно быть, жив, но находясь в сумасшедшем доме, и меня связали, как страдающего буйным помешательством.

— Вы видите что-нибудь?

Я в бреду. И то, что мне видится, не имеет никакого значения, потому что на самом деле не существует.

Я видел восемь длинных-длинных тонких ног. Четыре с одной стороны и четыре с другой. Эти

ноги, остро изогнутые в суставах, похожие на шестерни какой-то огромной машины, как шатер взывались надо мной. На них сидело круглое туловище небывающего зверя. Зверь этот, словно панцырем, был покрыт роговыми мутно-коричневыми пластинками. Только на середине брюха сияло ярко-желтое пятно. Усатая голова, в два обхвата толщиной, тоненькой короткой шейкой соединенная с туловищем, раззевала черную пасть, похожую на пароходный люк, и смотрела на меня сотнями мертвых, жестяных глаз. Этот немигающий взор был так страшен, что кровь холодела в моих жилах.

Вдруг задняя часть туловища наклонилась, и из ее поползла длинная белая нитка. Ноги-шестерни заработали, приподняли меня, закачали в воздухе, подхватили нитку и принялись обматывать ею мое тело. Мягкие легкие толчки переворачивали меня с боку на бок.

— Разбудите меня, профессор, — вскричал я, — это невыносимо!

— Увы, Ипполит, я при всем желании не могу разбудить вас.

— О, ущипните меня, ударьте, и я сразу проснусь!

— Вы не проснетесь.

— Но почему же?

— Потому что вы не спите.

— Что же это за странное чудовище стоит надо мной?

— Это паук, четвертый знак пути, показывающий, что мы на верной дороге.

— О, профессор, эта дорога ведет...

— К смерти, — договорил он.

Я был мухой для этого исполинского паука. Он крутил и переворачивал меня, обматывая линкой пау-

тиной. Открывался и закрывался его четырехугольный рот. Тусклым блеском сияли его бесчисленные глаза.

Вот голова его нагнулась, и изо рта вылезло отвратительное, дряблое, кникообразное жало. Я почувствовал острую боль в плече и вскрикнул. Чудовище пило мою кровь.

— Спасите меня! — закричал я во всю глотку.

— Не могу, — голосом, полным отчаяния ответил профессор. — Я связан так же, как вы.



Я хочу кричать, но у меня не хватает дыхания. Я вырываюсь, но мускулы мои скованы. Вот она, гибель моя!

Спасение пришло тогда, когда я меньше всего мог ожидать его.

В воздухе просвистел тяжелый булыжник и ударила наука в бок. За ним полетел второй, третий. Камни градом сыпались со всех сторон и мяли панцирь чудовища.

Одна из ног его отломилась и упала на меня. Судорожно сгибаясь и разгинаясь в четырех суставах, Наук, путаясь в своих многочисленных ногах, повернулся в сторону новых врагов и приготовился к защите.

Но судьба его была решена.

Острое легкое копье со свистом пролетело надо мной и вонзилось в желтое чешуйчатое брюхо, прошив его, как картон. Из раны потекла белая густая жидкость. Наук запинатился, перевернулся на спину и упал, придавив мне живот своею тяжестью.

И сейчас же я услышал, как по камням заплелись босые человечьи ноги. Несколько голых волосатых рук оттащили Наука в сторону, и надо мной склонились желтые удивленные лица.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

### Шпилька.

Люди, населяющие темные трещины земной коры! Обитатели страны, навсегда лишенной дневного света! Да если бы горы сдвинулись с места, если бы солнце пошло с запада на восток, если бы профессор отвинтил свою голову и спрятал ее в чемодан — я не был бы так поражен.

Наши избавители были невысокого роста, но коренасты. Ходили они почти голыми, только бедра их были покрыты короткими черными юбочками. Распущенные длинные волосы, никогда не ведавшие ножниц и гребешка, испадали на спину. Вооружение их состояло из тонких легких копий с медными наконечниками и сияющих медных щитов, имеющих форму сердца.

— Добрые люди! — взмолился профессор, — сдирите с нас паутину.

Но жители пещер не понимали по-русски. Слова профессора не произвели на них никакого впечатления. Он повторил им свою просьбу на всех известных монгольских языках (профессор был замечательный лингвист): на татарском, узбекском, бурятском, турецком, японском, малайском, китайском,— но они не поняли ни одного его слова. С удивлением рассматривали они каждую пуговицу наших брюк, потушенные электрические фонари, и тщательно обнюхивали чемодан,

сильно пахнувший кожей. Этот запах доставлял им высокое наслаждение, и они улыбались, широко раззевая рты.

— Мерзавцы! — выругался профессор на всех вышеперечисленных языках и на нескольких индоевропейских. — Да что вы, оглохли, что ли! Вы обязаны нам помочь. Этого требует международный обычай.

Но вот, расталкивая локтями своих соплеменников, к нам подошел человек, в юбочке, расшитой перебром. На груди его висел горящий фонарик.

Это был начальник отряда, так счастливо подсневшего как раз в то время, когда мы готовы были погибнуть в лапах исполинского паука. Строго оглядев подчиненных, он произнес только одно слово:

— Мантухассар!

Это слово нам потом приходилось слышать не раз в этой стране. При звуке его воины вытягивались в струнку, дети бросали игры, купцы переставали торговаться и женщины умолкали.

На этот раз оно возымело такое же действие. На лицах воинов появилось суровое, немного испуганное выражение. Весь отряд построился правильной длинной колонной по четыре человека в каждом ряду.

Начальник опустился на колени, вытащил из ножен короткий кинжал и стал обрезать им паутину, опутавшую все прибрежные скалы. Каждая паутинка была толщиной в бичевку, и он, скрутив вместе несколько паутинок, получил длинный, толстый канат. В середине этого каната он сделал две петли — одну побольше, другую поменьше. Потом подошел ко мне, приподнял меня, просунул мои ноги в меньшую петлю и тут же затянул ее вокруг моей талии. Вторая петля предназначалась для профессора, однако, просунуть,

в нее Зворыку оказалось не легким делом. Начальник отряда весь обливался потом, но не мог сдвинуть с места его колоссальную тушу. Ему пришлось прибегнуть к помощи своих подчиненных. Дюжина здоровенных дикарей с трудом подняли моего друга.

Но вот, наконец, он водворен в петлю. Начальник тем же кинжалом срезал обленившую нас паутину, и тридцать воинов — по пятнадцать с каждой стороны — ухватились за концы каната. Мы встали, с наслаждением разминая затекшие ноги.

Руки и ноги наши были свободны. Мы могли ходить, нагибаться, тащить тяжесть на спине. Держали нас только тугие пояса, концы которых находились в руках трех десятков дюжих дикарей. Спасители наши оказались нашими поработителями. Из лап наука мы попали в лапы грубых варваров. „Илохо наше дело,—думал я.—От них добра не дождешься. Наши похождения кончатся смертью или рабством“.

Отряд построился, и мы тронулись в путь. Впередишли воины, тащившие перевернутое брюхом кверху тело наука. Ноги его были отрублены и брошены. Вслед за науком несли наши вещи, — электрические фонари и чемодан. Затем шагал наш многочисленный конвой. И в самом хвосте шел начальник, зорко следивший за порядком.

Профессор, твердо веривший в человеческую справедливость, пробовал протестовать.

— Мы научная экспедиция, — кричал он. — Люди науки имеют доступ всюду. Мы трудимся на благо всего человеческого рода. Всесоюзная Академия Наук...

Но его даже не удостоили вниманием. В их глазах он был пойманым диковинным зверем, которому предоставляют рычать, сколько он хочет. Лишь бы не вырвался на свободу.

Мы углубились в трещину большой прибрежной скалы. Длинный коридор, открывшийся перед нами, сильно отличался от всех подземных коридоров, виденных нами раньше. Его часто посещали люди. То там, то тут нам попадались удобные ступени. Песок, устилавший его пол, был перемешан с золой, а остатки костров говорили, что населявший эти пещеры народ хорошо знаком с употреблением каменного угля.

Коридор этот пересекал целый ряд широчайших пещер, заросших грибными лесами. Через быстрые светящиеся речки были перекинуты искусно построенные каменные мосты. Возле ярких костров работали люди.

— Смотрите, Ипполит, — сказал профессор, — ведь, это полевые работы. Грибы здесь выросли не сами, их насадили. Видите, как под ними взрыхлена почва. Это следы упорного труда — ее разрыхляли мотыгами.

Вскоре мы увидели и женщин этого народа. С дымными факелами в руках по приставным лесенкам они лазали под грибные шляпки и собирали споры грибов. Набрав полный мешок, они волокли его к мельницам.

Мельницы эти попадались нам на каждом шагу. Но читатель очень ошибется, если представит их себе в виде обычных ветреных или водянных мельниц, столь обычных на поверхности земли. Эти мельницы куда примитивнее. Устроены они были вот как:

На земле неподвижно лежит огромный каменный жернов. На него положен другой такой же, но с торчащими по бокам железными крюками, к которым привязаны канаты. Посредством вбитого в своды пещеры блока, верхний жернов приподымает и на

поверхность нижнего насыпают три-четыре мешка спор. Потом верхний жернов опять опускают на нижний, и целая толпа полуголых мужчин, по крайней мере, человек сто, ухватившись за канаты, под щелкающими бичами погонщиков, вертят его. Желтоватая грибная мука сыпется прямо на землю, ее собирают лопатами исыпают в мешки.

„Такой каторжный труд — лучшее, что может нас ожидать в этой стране“, — думал я и проклинал тот день, когда Иоганн Кох завернул мне сосиски в отрывок из Шмербиусова дневника.

По профессор был истинный мечтатель. Он не умел отчаяваться. Внимательно следил он за работой, и планы, один грандиозней другого, зарождались в его голове.

— Это — плантация, — говорил профессор. — Тысячи инцзих голодных пролетариев работают на собственников земли. Техника в этой стране чрезвычайно низка. Сколько труда, и такие жалкие результаты! Посмотрите, как безмоловно они трудятся, точно они не люди, а тени. Тяжелой нуждой и долголетним рабством достигается это молчание. Эх! — вздохнул он и встряхнул золотыми волосами. — Выполнив главную задачу нашего путешествия, мы осчастливим и обогатим эту страну. Несколько лет общения с культурными народами преобразят ее. Сколько энергии бесмысленно пропадает в том водопаде, который чуть было не погубил нас. Все богатства не только Волховстроя, но даже Ниагары — ничто перед этим втуне пропадающим кладом. Ослепительный электрический свет засияет в этих мрачных подземельях. Электромельницы день и ночь будут размалывать миллионы цудов спор. Электропилы всшашут землю. Наравне с земледелием вырастет и промышленность. Вы только

посмотрите, сколько сейчас здесь трудится человек над размалыванием нескольких пудов зерна! Тогда все это будет делаться машинами. А люди займутся добыванием руд, каменного угля, нефти и драгоценных металлов. Задымят доменные печи, запыхтят паровозы. Но раньше всего нужно, конечно, свергнуть власть феодалов. Лозунг—земля трудащимся—может стать здесь очень популярным. Чтобы перевести его им, я немедленно займусь изучением здешнего языка. Мы построим школы, клубы. В два года ликвидируем безграмотность, подымется искусство, народится литература, и тогда эта страна заживет богато и счастливо.

Люди все чаще и чаще попадались нам навстречу. Рост, огненные волосы и борода профессора (он не брался с нашего отъезда из Ленинграда и оброс рыжей бородой) привлекли толпы любопытных, которые, не отставая, шли за нами. Многие из них обращались с вопросами к начальнику нашего отряда и, услышав в ответ страшное слово: Мантухассар, испуганно и огорченно кивали головами.

Долго еще профессор говорил о грядущем возрождении этой страны. Гулко гремел его зычный голос в бесчисленных галереях. Он восторженно хохотал, представляя счастливые картины земного рая, который ему предстояло создать.

Но вдруг глаза его потухли, он остановился, загнулся и с чрезвычайно мрачным видом поднял что-то с земли.

— Что вы нашли, профессор? — спросил я.

— Да так, ничего, пустячек один.

— Какой пустячек?

— Женскую головную шпильку.

— Неужели женщины этой страны закалывают себе волосы шпильками? Это указывает на довольно высокий культурный уровень здешних жителей.

— Нисколько, — ответил профессор. — Я уверен, что эту шпильку обронила вовсе не одна из здешних красавиц. Тем более, что шпилька — явно европейского происхождения.

— Как же она сюда попала?

— Она выпала из жилетного кармана коммивояжера, представителя одной варшавской фирмы...

— Какого представителя?

— Аполлона Григорьевича Шмербиуса.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

### Допрос.

Галлерея кончилась, и мы вошли в город.

Перед нами круговорот уличек, лесенок, туннелей, прудов, ручейков. Каменные мостики висят над свешивающимися водами. Разноцветные фонари — красные, зеленые, синие, оранжевые — горят на круглых башенках, на лодочках, скользящих по каналам, на легких колонках, под сводами арок и туннелей. Мы видим их веселые огоньки то на страшной высоте, то на дне беспрестанно открывающихся перед нами прощастей. Люди, как тени, внезапно появляются из темноты, мелькают в призрачном свете фонарей и снова тают во мраке. У многих на груди висят фонарики. Кажется, что улицы наполнены беспорядочными роями огненных жуков. Кусочки кварца, вкрапленные в гранит стен, неожиданно вспыхивают миллионами искр и гаснут.

Город построен в бесчисленных трещинах гранита. Эти трещины соединены между собой искусственными туннелями. В их стенах прорублены комнаты, залы и коридоры. Ручьи и озера соединены каналами, шлюзами. Многие трещины проходят одна над другой. Этот подземный город, в отличие от наших городов, расположенных на земной поверхности, имеет такую высоту, которая не уступает его длине. Здесь не только многоэтажные дома, но и многоэтажные улицы.

А какие фонтаны бьют в этом сказочном городе! Какие шумят водопады! Очарованный и упоенный,

я забыл, что я пленник, и, затаив дыхание, следил за этим кружением арок, огней и вод.

Жители подземной страны больше всего боятся шума. Здесь все говорят шепотом. Если кто-нибудь произнесет слишком громкое слово, если кто-нибудь вскрикнет или уронит на мостовую гулкий железный гвоздь — все в ужасе разбегаются от него, испуганно шепча: „Мантухассар“. Гробовое молчание считается здесь высшей человеческой добродетелью.

Навстречу нам прошла длинная процессия женщин-работниц. Изможденные, бледные, они несли на плечах тяжелые корзины с мукой. За их юбки хватались голые ребятишки, грязные, как поросыта. А по бокам шли сытые здоровенные надсмотрщики и щелкали бичами. В руках у женщин горели факелы.



Хионом, развалился коротенький жирный вельможа. Кругом в строгом порядке шествует вооруженная копьями стража. Впереди бегут несколько человек, размахивая бичами и разгоняя толпу. Бичи со свистом щелкают по длинным женским балахонам, по голым спинам мужчин. Толпа расступается. Нас тоже отводят к стене, и наш конвой почтительно склоняет головы.

Эта молчаливая рабочая артель казалась похоронным шествием. Но, тс-с-с!..  
Тише!

Вот из-за поворота восемь полуоголых носильщиков выносят носилки, на которых, под пышным золотым балда-

Но вельможа небрежно взмахивает рукой, и носилки останавливаются перед фонтаном. Вода бьет синеватой бесшумной струей, достигает предельной высоты и падает вниз, рассыпая золотые брызги. Вельможе подносят глиняный кувшин, он пьет, сося и похрюкивая.

Я загляделся на чудный фонтан и забыл все на свете. Но вольнолюбивое сердце профессора не выдержало.

— Эксплоататор! — вскричал он. — Тунеядец! Бездельник! Я бы на их месте кинул его в воду.

Но носилки, качаясь, проплыли мимо, на улице снова засуетился народ, и нас повели дальше.

— Как печален этот прекрасный город, — говорил профессор. — Жители его не умеют смеяться. Он напоминает мне Элизий, где, по верованиям греков, живут души умерших. В печальных полях Элизия, как и здесь, все беззвучно и призрачно. Воды не шумят, люди не смеются. И здесь, и там только тень жизни, а не жизнь. Дорого бы я дал, чтобы мне позволили расщепить этих покойников. Я бы так рассмешил их, что они бы животики надорвали.

И восхищенный своей идеей, он захохотал громко и простодушно. Наши молчаливые конвоиры вздрогнули и удивленно взглянули на него.

Но вот мостики, башенки, лесенки города кончились. Под легкой аркой прошли мы к гигантской пещере. Свод ее терялся во мраке. Глубокое дно было залито светом огней. Улицы изрезали ее стены широким полукругом и, как театральные ярусы, возвышались одна над другой. А у стены, которая в этом колоссальном театре служила сценой, находилась исполинская статуя.

Она изображала мужчину, сидящего, как все сидят на Востоке, поджав под себя ноги. Голова его ухо-

дила под самые своды, окутанные мраком. В течение тысячелетий его невидимый каменный взор смотрел на изогнутые висячие улицы города. Спина упиралась о заднюю стену пещеры. Прекрасные тонкие руки от плеча до локтя были прижаты к груди. Кисти их, вытянутые вперед, с раскрытыми кверху ладонями, лежали на дне пещеры, между широко раскинутыми коленями. А на ладонях стоял многоколонный дворец из белого мрамора, освещенный бесчисленными огнями.

С верхних улиц (а вывели нас на одну из самых верхних улиц-ярусов) дворец этот казался крошечной безделушкой, годной только для того, чтобы украшать какой-нибудь дамский туалетный столик. Но по мере того, как мы по широким лестницам спускались все ниже, из яруса в ярус, дворец рос и расширялся. А когда, после двух часов ходьбы, мы достигли дна пещеры, я понял, что в этой игрушке живут сотни и сотни людей. Каков же должен быть этот каменный гигант, держащий его на своих ладонях!

— Это самая большая статуя в мире, — сказал профессор. — Одно из семи чудес древнего мира — Колосс Родосский имел всего сто пять футов вышины. Самой большой из современных статуй считается Статуя Свободы в Нью-Йорке, вышиной в сто пятьдесят один фут пять вершков. В ее пустой бронзовой голове может свободно разместиться сорок человек, но и она показалась бы жалким карликом перед этим гигантом.

Дно пещеры оказалось широкой, хорошо умощенной площадью. На площади стояла толпа. Но эта толпа сильно отличалась от беспорядочной толпы верхних улиц. Здесь были только воины, вооруженные копьями и медными щитами. Длинные распущенные волосы до пояса покрывали их спины. Они стояли

стройными колоннами по сто человек в каждой. И все молчали. Эти сотни тысяч людей, собравшиеся перед каменным истуканом, были безмолвнее стаи рыб.

— Да что они воды в рот набрали, что ли! — возмущался профессор. — Неужели им не скучно? Я бы их расшевелил, я бы заставил их посмеяться.

Нас вели прямо ко дворцу. Чем ближе мы подходили, тем грандиознее казались нам ладони державшего его истукана. Мы уже давно заметили, что от главного входа дворца спускалась на площадь широкая лестница. Она была ярко освещена фонарями, висевшими на ее перилах. И из каждой ступени вздымались кверху длинные шесты со странными утолщениями на концах.

— Уж не горшки ли они сушат на этих палках? — спросил меня близорукий профессор.

— Нет, профессор, не горшки. — ответил я. — Они сушат человечьи головы.

Нас подвели к подножию лестницы и остановили. У меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть эту страшную выставку.

Лестница имела двести семнадцать ступеней. На каждой ступени по два шеста и на каждом шесте — голова. Всего четыреста тридцать четыре головы. Головы эти были чрезвычайно разнообразны. На многих все мягкие части сгнили, волосы вылезли и остались одни оскаленные черепа, глядящие пустыми дырами глаз. На других кожа вздулась черными пузырями, страшно обезобразив лицо, перекосив рот, из носа, глаз и щек создав одну гноящуюся язву. Третий, сравнительно свежие, выпучив один колоссальный глаз и прищурив другой, бесстыдно улыбались черными губами. Были здесь лица бледные, как воск, с распущенными волосами Горгоны, и румяные

хочоющие рожи с белыми клыками вампиров. Мигание фонарей вселяло жизнь в их исковерканные черты. Они шевелились, подмигивали и даже, казалось, кивали со своих длинных шестов. Загипнотизированный ужасом, я глядел на них, не отрывая взора.

Но вот двери дворца распахнулись. Длинной цепью, по двое в ряд, вышла стража. Мерно шлепая босыми ногами по каменным ступеням, она растянулась на всю лестницу. И вдруг замерла на месте — возле каждого шеста по человеку. Мертвые головы осенили их.

Затем из дверей вышли два герольда в синих плащах, ниспадающих с плеч. Они остановились по углам портика и приставили к губам медные узкие трубы. Раздался глухой, пегромкий, замогильный звук. Заслышав его, вся толпа пала на колени и, уперев лбы в мостовую, затаила дыхание. Только мы с профессором остались на ногах.

И в третий раз распахнулись двери. Но прошло не меньше пяти минут, прежде чем из них вышел хромоногий, узколобый, скуластый человек, с выпяченной вперед, как у гориллы, нижней челюстью. Нос у него был широкий и приплюснутый, ноздри совершенно круглы. Щеки были голы, без малейшей растительности, как, впрочем, у всех мужчин этой страны. Широкая неприкрытая грудь его заросла щетиной, словно грудь вепря. Длинные руки висели почти до колен. Голову его украшал золотой гребень, имеющий форму крылатого дракона, с зубчатой спиной и узким раздвоенным язычком, торчащим из раскрытой пасти. В черные волосы, ниспадавшие на плечи, были вплетены нити красного золота.

Он шел, не спеша, прихрамывая и упираясь рукой на короткий жезл. Его маленькие, в глубоких впа-

динах сидящие глазки хищно рыскали по сторонам. Медленно прошел он пятьдесят ступеней и на пятьдесят первой остановился. Обводя тусклым взором площадь, он разжал узкие губы.

— Тъяузи хуакай! — негромко, но внятно произнес он.

Площадь отвечала глухим шепотом. Шепот этот, как ветер, перелетал с места на место, шумел, собираясь, становился все слышней и слышней.

— Тъяузи хуалохум, Мантухассар! — прошептали тысячи уст.

Так вот он кто, этот Мантухассар, одноимя которого наполняло ужасом сердца этого народа! Вот он, тиран, украшающий свой дворец человечими головами. Признаюсь, холодный пот прошиб меня, когда я взглянул в его зверскую физиономию.

Повелитель взмахнул рукой, и воины один за другим стали подниматься с колен. Затем он дал знак начальнику нашего конвоя приблизиться. Тот уже сделал было шаг вперед, как вдруг двери дворца скрипнули и стремительно растворились. На лестницу выскочила маленькая щуплая фигурка в черном фраке с развевающимися фалдами, хлопнула дверью и быстро-быстро засеменила вниз по ступенькам, пристукивая башмаками, словно палочкой по забору.

— Да это Шмербиус! — вскричал профессор.

Действительно, это был Шмербиус. Он добежал до повелителя, на секунду приостановился, хихикнул, встал на цыпочки и что-то торопливо залепетал ему на ухо. Потом засеменил дальше, спрыгнул с лестницы, фамильярно хлопнул начальника конвоя по животу и подбежал к нам.

— Тъяузи хуакай, профессор, — затараторил он. — То-есть, тьфу! я хотел сказать здравствуйте. Так



быстро привыкаешь к этой тарабарщине. Ну, как вам здесь нравится? Не правда ли, здорово! — Он ткнул пальцем в сторону мертвых голов. — Этакая демонстрация государева могущества в самом центре города. Царствуй на страх врагам, хе-хе. Впрочем, кому я говорю! Ведь, вы старый социалист, профессор. Читал, читал, как же! И здесь были социалисты, да все вышли. Теперь тут шепотком, шепотком говорят, слова громко вымолвить не смеют.

Шмербнус на секунду замолк, прищурил глаз и склонил голову на бок, как бы собираясь выслушать возражения профессора. Но сейчас же продолжал:

— А что бы вы сказали, профессор, если бы и вашу благообразную голову посадили, извините, на кол? Не правда ли, заманчивая перспектива плятить оттуда бельма и пугать взбалмошных юношей, которые имеют дерзость сомневаться в том, что деснотия — лучшая форма нравления, а его величество богоравный император Мантухассар — величайший государь во вселенной и заместитель Великого Вагхи? Ах, вот как, вам это не нравится. Ну хорошо, не беспокойтесь. Я замолвлю за вас словечко. Император очень меня ценит. Скажу вам по секрету, мы с ним на короткой ноге. Ба-альшие приятели! У нас есть что-то общее в характере. Да и в самом деле, нельзя же такого человека, как вы, ученого с европейским именем, обезглавить по прихоти какого-то босоногого варвара. Впрочем, чего вам беспокоиться! До тридцатого апреля осталось всего несколько дней. Тогда мы все, и безголовые и с головами, ировалимся в тартарары. Что вы по этому поводу думаете, профессор?

И он снова подмигнул с веселейшей и лукавейшей миной.

Но императору надоело ждать. Он облокотился на перила лестницы, обхватил рукой шею с отвратительной подсогнившей головой и нетерпеливо смотрел на Шмербиуса. Шмербиус синой почувствовал этот взгляд. И, подобострастно изгибаясь, он обернулся и что-то прокричал императору на его родном языке. Затем снова обратился к профессору.

— Его императорское величество, святейший государь Золотых Ручьев и всего Златоречья, повелитель пещер Синих Огней и пещер Кипящей Воды, владыка всех городов, поселков и селений страны Сияющих Камней и страны Прозрачного Кварца, и всех городов, поселков и селений, расположенных на берегах Великой Реки, и всех малых и больших вод, втекающих в нее, царь всех народов Соленых Озер и князь всех племен, живущих под покровительством Мамонта и внимающих дыханию Дракона, соизволил пожелать лично допросить вас. Я буду иметь честь служить переводчиком при высочайшем допросе.

— Будьте очень осторожны, профессор, — пропищал я, чувствуя, что этот допрос решит нашу судьбу. — Не говорите дерзостей. Вы слишком вспыльчивы и этим можете погубить все дело. Главное, не доверяйте Шмербиусу.

Нас ввели на лестницу и остановили на шестнадцатой ступени синзу. Длинные волосы казненных бунтовщиков покачивались над нашими головами. Столько девять ступеней отделяло нас от императора, но площадь была так тиха, что говорить можно было совсем не громко.

Император пристально глянул профессору в глаза. Но взор профессора был так ясен, тверд и открыт, что маленькие глазки тирана не выдержали его и торопливо забегали по сторонам. Это произвело

невыгодное для нас впечатление, но — что поделаешь! профессор — человек прямодушный и не умеет лукавить.

Император сказал несколько слов Шмербиусу, и тот немедленно затараторил:

— Его императорское величество (тут он, покачиваясь из стороны в сторону, нараспев повторил полный титул Мантухассара, с указанием всех городов и стран, которыми он владеет) спрашивает вас, чужеземцы: зачем пришли вы в нашу мирную страну? Уж не войну ли вы несете нам? Тогда посмотрите, сколько копьеносцев стоит на этой площади, и знайте, что по одному зову в сорок раз сорок большее количества придет из всех городов и обрушится на врага. Или, может быть, вы слуги демонов Черных Пещер и несете мор и язву на нашу благословенную страну? Может быть, вы хотите, чтобы червь поел наши грибные нивы, чтобы наши воины заживо сгнили, а наши жены рожали хвостатых ублюдков с тонкими паучьими ногами? О, жалкие безумцы! Ведь наша страна находится под покровительством Великого Вагхи, и козни демонов нам нипочем. Он, держащий на своих ладонях дворец государя, не даст свой народ в обиду.

— О, повелитель, — ответил профессор. — Верно злые языки оклеветали нас. Посуди сам, можем ли мы, двое слабых безоружных людей, нести войну тебе и твоему могущественному народу? А демоны Черных Пещер наши враги, а не покровители, ибо нам ненавистно все злое. Мы мирные странники, случайно зашедшие в твои владения, и уповаем на твою справедливость.

— Ты сладко говоришь, чужеземец, — ответил Мантухассар, когда Шмербиус перевел ему слова профессора. — Но волосы на твоей голове имеют цвет огня, а огонь означает коварство. Можно ли верить

твоим медоточивым речам? Кто мне поручится, что ты не пришел бунтовать мой народ против меня? Может быть, ты сам хочешь сесть на престол моих предков. Посмотри на эти головы, человек из страны великанов. Когда-то они сидели на плечах людей, не признающих никакой власти, кроме власти народа. В их преступных умах создавались адские замыслы. А спроси их теперь, что они думают обо мне. Гляди, они не могут ответить, их губы сгнили, их языки высушили, в их черепах — плесень и пыль. Уж не хочешь ли и ты разделить участь этих безумцев? Твоя обширная голова была бы лучшим украшением моего дворца.

— Нет, император, — ответил профессор, — нам не надо твоего престола. Еще раз повторяю тебе — с миром пришли мы в твою страну. Мы не топтали твоих нив, не охотились в твоих лесах, не трогали твоих людей. За что же воины связали нас, как пленников, и лишили нас свободы? Отпусти нас, повелитель, доброта украшает сильных.

И профессор дернул стягивающий нас канат.

Но хромоногий деспот улыбнулся недоверчивой хитрой улыбкой.

— Слишком ты скор, чужеземец, — проговорил он. — Не успел еще и часу пробить моим гостем, а уж недоволен приемом. Куда ты торопишься? Свобода и смерть никогда не приходят слишком поздно. Не счиши. Ты еще успеешь получить то, что тебе уготовит мое правосудие.

— Допрос окончен, — сказал Шмербиус. — Император не верит вам. Вы останетесь в путах, пока он не выяснит истинных ваших намерений. А, впрочем, — хе-хе, — вам придется страдать не так уж долго. Судя по моим часам (здесь, знаете ли, нет календарей,

и приходится узнавать время только по часам), тридцатое апреля на носу. Наверху уже грачи прилетели...

— Император! — отчаянным голосом закричал профессор. — Умоляю тебя, отпусти нас. Мы хотим спасти тебя, а не погубить. Гибель несет этот наглый, пошлый, подлый вертун, которого ты так опрометчиво облек своим доверием. Я один знаю, какими бедствиями он грозит всему миру. Клянусь солнцем, которое светит в моей стране, клянусь звездами, которые украшают ее ночи, — все, что я сказал тебе — правда!

— Что вы, что вы, профессор! — в ужасе замахал руками Шмербиус. — Вы, ведь, только рассердите его величество. Замолчите! Да и понять вас без переводчика, хе-хе, — ему довольно трудно. Вы хотите, чтобы я перевел ему вашу пламенную речь? Увольте, дорогой, это невозможно. Вот вы говорите про солнце и звезды. А на здешнем языке и слов таких нет. Они и не видели никогда вашего солнца. Как же я переводить буду?

И профессор умолк.

Нас повели вниз и поставили на прежнее место.

Шмербиус не покидал нас и продолжал тараторить без умолку, несмотря на то, что профессор не обращал на него никакого внимания.

— Сейчас сорок восемь красивейших девушек, — говорил он, — из сорока восьми округов будут плясать перед дворцом в присутствии всего войска, и самая красивая из них, по выбору императора, будет принесена в жертву Вагхе. Таков обычай. Правда, свободомыслящие люди возмущаются им и считают его слишком жестоким, но я полагаю, что он не лишен своеобразной красоты. И Мантухассар держится моего мнения. Это дает нам возможность раз в год наслад-

ждаться прелестнейшим балетом. Я рад, что вы, такой блестящий ценитель искусства, будете присутствовать при этом очаровательном зрелище.

Рой босоногих девушек появился перед лестницей. Все они, действительно, были очень хороши собой. Они низко поклонились императору.

Император взмахнул рукой. Из толпы вышел головастый косматый горбун, сел на землю, поджав под себя ноги, и приставил к губам маленькую дудочку. Зазвучал тихий, простой, печальный, немного странный мотив. Девушки выпрямились, зашевелили плечами, и началась удивительная пляска.

Профессор сначала безучастно следил за их короткими скучными движениями. Но мало-по-малу взор его стал внимательнее и голова начала покачиваться в такт из стороны в сторону.

А между тем музыка становилась все громче и громче. Быстрее двигались ноги танцующих, и румяне становились щеки профессора. Он давно уже выбрал самую прекрасную и с жарким вниманием следил за каждой ее па.

Это была девушка среднего роста, не старше семнадцати лет, с суровым и гордым лицом. В отличие от своих быстrogлазых подруг, она ни разу не глянула по сторонам. Легкие ноги ее почти не касались земли. Руки двигались свободно, как крылья. Тело ее, изгибаясь, передавало каждый оттенок музыки. Ритм все ускорялся, и все быстрее становились ее привольные движения. Профессор не спускал с нее глаз. Под конец он воодушевился необычайно.

— Бесподобно, восхитительно! — шептал он, раскачиваясь из стороны в сторону и ловя каждое движение девушки. — Какая грация! Какое чувство ритма!

Но музыка вдруг оборвалась на полутакте, и танцовщицы застыли на месте.

— Его величество сделал выбор, — сказал Шмербиус.—Прекраснейшая из них — умрет.

Мантухассар медленно сходил с лестницы, держа в руках серебряный венец. Девушки, затаив дыхание, ждали своей участи. Получившая венец обречена смерти.

На последней ступени тиран замедлил шаги. Казалось, он еще колебался. Его торопливые маленькие глазки перебегали с девушки на девушку. Тысячи сердец сжались и замерли.

Но колебание это длилось одно мгновение. Он шагнул вперед и возложил венец на голову той, которая так очаровала профессора. Площадь ответила глухим, еле слышанным ропотом.

— У императора отменный вкус! — воскликнул Шмербиус, потирая руки.— Я вполне разделяю его выбор.

Крик отчаяния вырвался из уст несчастной девушки. Она упала на колени и, вся в слезах, обняла ноги своего палача. Ее прекрасные глаза умоляюще смотрели в его ничтожные злые глядяшки. Ах, она еще так мало жила на свете! Ей так не хочется умирать! Чем она виновата, что природа создала ее такой красавицей?

Но женские слезы — вода для черствого сердца владыки. Кровь была нужна ему, как пища, как влага умирающему от жажды, как ветер — парусам корабля. Кровь теребила его притупленные нервы, кровь укрепляла его власть, кровь была его ежедневной привычкой.

Оттолкнув ее от себя, он наступил на нее ногой. выхватил копье из рук одного из стоявших рядом воинов и занес его над ее грудью.



Но тут случилось происшествие, которого никто не предвидел, — ни обезумевший от ярости тиран, ни запуганный народ, ни сама девушка.

Профес sor, уже давно дрожавший от негодования, вдруг, собрав все силы, рванулся и разорвал связывавшие его путы. Бледный, с сжатыми кулаками кинулся он вперед, как разъяренный бык, расталкивая и разбрасывая ошеломленных воинов. Огненная голова на крепком, налитом кровью затылке, как солнце проплыла над смятенной толпой. Его огромные широконосые башмаки топтали сбитых с ног телохранителей. Как гром налетел он на ошемленного императора, схватил его за руку, поднял и завертел над своей головой. Тот взлетел в воздух и, описав огромную дугу, грохнулся на середину лестницы.

Тогда профессор нагнулся, поднял лежащую без чувств девушку, вскинул ее себе на плечо и во весь дух пустился бежать через площадь.

Я посмотрел по сторонам и, убедившись, что конвой мой забыл обо мне и думать, раскидал связывавшие меня канаты и стремглав пустился за профессором.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ В темнице.

Мы сидели в вонючей каменной яме, служившей нам темницей. Наши электрические фонари, предоставленные нам тюремным начальством, бросали расплывчатые круги на покрытые белой плесенью стены. От городского шума нас отгораживала железная наглухо занертая дверь.

Профессор долго не мог успокоиться: Как пойманный тигр, безостановочно шагал он из угла в угол — от своего кожаного чемодана до глиняного горшка с мутноватой водой. Он шумел, негодовал и метал молнии. Одно радовало его — девушка была спасена.

— Вы заметили, — говорил он, не останавливаясь и не поворачивая ко мне головы, — что воины не хотели арестовывать нас. Ведь, мы пробежали через всю площадь, запруженную народом, и никто даже не попытался нас остановить. Все видели, как я передал несчастную девушку ее матери, и ни один человек не попробовал помешать ей увести ее. Разве это не знаменательно? Вспомните: мы были пхвачены только тогда, когда нас догнал Имербиус. Нет, Ипполит, народ этой страны враждебно относится к кровавым забавам своего властелина и сочувствует нам. Помните головы революционеров, украшающие дворцовую лестницу? Только их окровавленные уста могли бы правдиво рассказать нам, о чем думает народ.

Он остановился, насупив брови, и снова зашагал взад и вперед по липкому полу.

— Но теперь уже все равно, — мрачно продолжал он. — Нам ничто не поможет. Мы проиграли. Все козыри в руках у Шмербиуса.

Его широкие плечи казались еще грандиознее в этой тесной каморке. И было жалко смотреть, как безнадежность кривила упрямые толстые губы.

— Скажите, профессор — спросил я, — вы несколько не сомневаетесь в возможности...

— В какой возможности?

— В возможности взорвать Земной Шар?

Я впервые выговорил эту страшную фразу. Мы никогда с профессором еще не произносили ее. Между нами был заключен безмолвный договор — умалчивать о самом главном. И только теперь, когда это самое главное стояло перед нами во всей неотразимости, я решился, наконец, заговорить о нем.

— Вы спрашиваете, не сомневаюсь ли я! — воскликнул профессор, внезапно повернув ко мне свое разгоряченное лицо. — Можно ли сомневаться в очевидном? Какой глупец посмеет оспаривать, что квадратный корень из шестнадцати — четыре! Увы, математика не оставляет места сомнениям.

— Но, профессор, геология не математика. Взорвать мироздание труднее, чем вызубрить таблицу умножения.

— Вы правы, Ипполит. Геология пока еще не математика. Ей далеко до математической точности и непререкаемости. Наши знания еще слишком не полны. Но и в геологии есть уже части и отделы, которые математически точны. Например, всеми геологами мира считается бесспорно установленным, что третичный период истории Земли был периодом великих катаклизмов и потрясений. Именно в это время

погибли все исполинские пресмыкающие, скелеты которых мы порою находим при раскопках. Те растения, которые некогда были украшением и гордостью лесов, стали теперь хилой травкой, изрывающейся на наших лугах. В третичный период земная кора морщилась, вздувалась, пузырилась. Именно тогда установились современные очертания материков и океанов, тогда образовались главнейшие горные цепи. Изменился весь облик Земли. И вот, теперь ключ от новых таких же изменений в руках у подлого чинчоиста, у шарлатана, у пронырливого...  
и лешивого...

— Не горячитесь, профессор,—сказал я,—а расскажите мне все толком. Вы уверены, что Шмербинг может по своему желанию вызвать эпоху катастроф?

— Уверен, конечно, уверен! Здесь все дело в вулканах. Наука до сих пор почти ничего о вулканах не знает. Неизвестно даже, существует ли огненно-жидкое ядро Земли. Я, лично, представляю его себе твердым и холодным. О вулканической деятельности мы только одно знаем бесспорно: все действующие вулканы расположены на морских берегах. Вода порождает все — даже огонь, ее злейший враг, созидаются ею. Этна лежит на острове Сицилия. Гекла и Катла — на острове Исландия, Фуджи-Яма и Асама — на Японских островах, Майон и Бабуйак — на Филиппинских, Уриараиара — на Гебридских, Котонакси, Чимразо и Майна — на Тихоокеанском побережье Южной Америки, Везувий — на берегу Неаполитанского залива, Калиманджаро — в районе великих африканских озер. Но этих вулканов немного. Большинство находится в центре материков, далеко от воды, и все они давным-давно потухли. А, ведь, в третичный период и потухшие вулканы пылали. Вы понимаете, Иннолит, что я хочу

сказать? Следовательно, в то время эти вулканы были тоже соединены с морем.

— Но разве можно снова восстановить эту их связь с водой? — спросил я.

— Ага, вы начинаете уяснять мою мысль! — закричал профессор, размахивая руками. — Почему же нельзя? Может существовать цепь подземных пещер, которые...

— О, профессор! — воскликнул я, — значит эти пещеры, в которых мы...

— Ну, да! Вы совершенно правы! Эти пещеры, в которых мы с вами провели уже столько времени, некогда служили гигантским водопроводом, соединявшим моря с ныне потухшими вулканами.

— Но, ведь, пещеры эти целы и невредимы. Почему же их не залила морская вода? Почему не действуют материковые вулканы?

— О, в пещерах далеко не так благополучно, как кажется! Где-то существует плотина, преграда, задерживающая воду. Она, может быть, очень тонка и ничтожна. Что, если для того, чтобы разрушить ее, достаточно щепотки динамита?

— Профессор, помните, в той бумаженке из колбасной, так и сказано: „Щепотка динамита — все, что требуется для исполнения моих планов“.

Ну, вот видите, Ипиолит! А вы еще спрашиваете, виолне ли я уверен в том, что он может осуществить свою преступную затею. Да я в этом не сомневаюсь. Ведь, этот прохода бывал здесь не раз. Смотрите, как чудно знает он здешний язык. А мамонт, которого мы здесь видели, а хвост, привязанный к грибу платком с его меткой, а паучья пещера — откуда ему известны все эти знаки пути? Он уж тут был, все высмотрел, выведал, установил связи с разными здешними высокопоставленными лицами и, убе-

дивишься, что в любое мгновение может выполнить свой замысел, поехал на родину попрощаться, погрузиться перед смертью, сделал турне по Европе, взял в Варшаве заказ на распространение шпилек, точно назначил дату гибели мира, и только тогда уже, не торонясь, заблаговременно, снова поехал сюда. Как вы думаете, Ипполит, сколько времени тому назад мы покинули земную поверхность?

— Мне трудно ответить вам, профессор. Здесь днем и ночью одинаково темно. Мне кажется, что мы здесь уже не меньше двух недель.

— Нападение бандитов на поезд было двадцать шестого февраля. Четыре дня мы блуждали по лесу в погоне за Авсеенкой. Значит...

— Значит, — вскричал я срывающимся голосом и вскочил на ноги, — значит тридцатое апреля сегодня или, самое позднее, завтра. Значит, пока мы сидим в этой проклятой дыре, он, может быть, крадется к тому заветному месту с динамитом в руках. Значит, каждую секунду можно ожидать взрыва, который мелкой пылью разнесет по небу хрупкую земную оболочку. О чем же вы думаете, профессор? Что вы стоите, как истукан? Взломайте замки, сорвите эту проклятую дверь с петель, мы обязаны сейчас же бежать отсюда, слышите, обязаны!

Мускулы профессорских рук надулись, раздувая рукава индяка, затылок налился кровью. Его тело напряглось, напружинилось и вдруг, словно гигантское пушечное ядро, рухнуло в дверь!

И тут произошло чудо. Дверь растворилась с удивительной легкостью, словно никогда не была заперта. Профессор не удержался на ногах, и со всем размахом грохнулся на пол. А в раскрытых дверях прозвучал резкий голос:

— Ах, какой вы неосторожный! Вам больно?

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

### С глазу на глаз.

Лицо Шмербиуса было серьезно и немного испуганно. Никогда я еще не видел его таким подавленным, встрепанным. Правый глаз его нервически дергался, совершенно некстати придавая лицу игривое выражение.

— Ну, вот... — сказал он, не зная, с чего начать.

Професор сидел, широко расставив ноги и молча смотрел в пол.

— Я, может быть, вам мешаю? — спросил Шмербиус.

Професор не ответил.

— Я могу уйти...

— Нет, сидите, пожалуйста.

Шмербиус переминался с ноги на ногу.

— Сегодня последний день... — продолжал он. — Двадцать девятое апреля...

Професор поднял голову и взглянул ему в лицо. Я отгадал его мысль. Он подумал, пельзя ли сейчас же, вот в этой камере, одним ударом раз навсегда покончить с этим ужасным преступником. Но за вздрагивающим лицом Шмербиуса он увидел стоявших у входа стражников и чуть-чуть усмехнулся.

— Там наверху в последний раз видят солнце, — с удивительной серьезностью сказал Шмербиус. — мы его уже не увидим никогда. Завтра смерть.

— А вы что,—испугались? — язвительно спросил профессор.

— Что ж, вы, пожалуй, правы, я испугался. Ведь, и мне вместе с вами умереть придется, — ответил Шмербиус с печальной и ласковой улыбкой в бесцветных глазах. — Все-таки, знаете ли, привычка. Жил-жил столько лет, и вдруг помру... Ага, вы уже понадеялись, профессор, — внезапно вскричал он с искривленным, хитрым и злым лицом. — Нет, нет, скажите, ведь, мелькнула уже в вашей груди надежда, что я испугался и передумал? Ведь, тогда снова все пошло бы по-старому — ваш кабинет, геология, яичница по утрам, сосиски... Ведь, понадеялись, а?

— Нет, не понадеялся. — просто сказал профессор.

Снова молчание. На этот раз профессор первый нарушил его.

— Зачем вы пришли? — спросил он.

— Зачем? Право, и сам не знаю. Морды косоглазые надоели. Захотелось в последний раз повидаться с людьми, поболтать. Все-таки вы мои соотечественники, хе-хе.

Он хотел засмеяться, но поперхнулся, и смех у него не вышел.

— Неужели вам не жалко, Аполлон Григорьевич?

— Жалко? Чего жалко?

— Да солнышка, людей, зверья всякого...

Глаза Шмербиуса засияли.

— Нисколько не жалко! — с жаром заговорил он. — Меня не жалели, и я не пожалею.

— Ну, хорошо, пусть так, но не от всех же вы видели только злое. Что сделали вам деревья, птицы, дети? Они живут и радуются жизни, а вы хотите их всех линить ее.

— Вот эта их бессмысленная радость и раздражает меня. Как смеют они, беспомощные и беззащитные, радоваться, когда я, умный, талантливый, все знающий и все умеющий,—страдаю? Вот вы говорите: птицы и дети. Вы знаете — я люблю музыку. Это моя единственная любовь. С детства я мечтал стать композитором. У меня не было скрипки — я играл на гребешке. Я упивался звуками. Вряд-ли Бетховен когда-нибудь чувствовал то, что чувствовал я. Вся наша семья жила в комнатке за парикмахерской. Целыми днями я бегал из угла в угол, не отнимая гребешка от губ. „Прекрати свой бессмысленный вой, Апполон, ты разгонишь всех моих клиентов“, — говорил мне отец, отнимал гребешок и драл меня за уши. Но я не унывал. Из бака, в котором кипятили воду для бритья, из пары кастрюль и нескольких жестянок я создал целый оркестр. Оставшись один в комнате, я вооружался кочергой и в бешенстве колотил по этим предметам, вне себя от восторга. Бак разбивался, кастрюли гнулись. Приходил отец и драл меня за уши. Вот почему у меня уши такие.

Он дернул себя за красное оттощенное ухо и громко всхлипнул, едва сдерживая слезы.

— Но я был верен музыке, — продолжал он. — Я стал работать. Голова моя пухла от контрапункта. Месяцами питался я одним хлебом, копя деньги на скрипку. Двадцати лет я написал свою первую оперу. Я показал ее напыщенным знатокам. И что же вы думаете? Они сказали, что я — бездарность и невежда.

Он замолчал, задумчиво глядя в стену.

— При чем же здесь птицы? — спросил профессор.

— Как при чем! И вы не понимаете? Да, ведь, какой-нибудь соловей или чижик — глуп и плюгав,

а откроет рот — какие звуки! Нет ничего слаще птичьего пенья. То, что Аполлону Шмербиусу недоступно, несмотря на бессонные ночи, природа даровала ничтожным бездельникам. Вот за что я ненавижу птиц.

— А за что вы детей ненавидите? — спросил профессор.

— За то, что их все любят, — глухим голосом ответил Шмербиус. — Меня ни разу никто даже не пожалел.

— Вы в этом уверены?

— Уверен.

И вдруг с удивлением заметил я, что у профессора дрогнула нижняя челюсть, глаза его потеряли свой обычный стальной оттенок и заголубели небесным цветом.

— Вы ошибаетесь, — сказал он. — Вас очень и очень жалеют.

— Кто же? — спросил Шмербиус, и кривая улыбка появилась на его губах. — Уж не вы ли?

— Я, — с удивительной простотой и мягкостью сказал Зворыка.

Нежность и теплота мелькнули в глазах у Шмербиуса. Он был удивлен и растроган. С ним еще никто никогда так не говорил. Слезинка выкатилась из-под века и остановилась на кончике изогнутого покрасневшего носа.

— Бедный вы, бедный, — продолжал профессор. — О, если бы я знал раньше, что вы такой одинокий, забытый и всеми покинутый.

Но лицо Шмербиуса передернулось. Он с ненавистью взглянул на профессора. Как все злые и хитрые люди, он не верил в доброту других. Ему стало стыдно своей минутной слабости. Да как он смеет,

этот нузатый, жалеть его, Шмербиуса, держащего в своих руках судьбу мира!

— Послушайте, вы, иоркширский философ! — взвизгнул он. — Это хорошее пищеварение сделало вас таким жалостливым. Сантиментами вы от меня ничего не добьетесь. Я не мальчишка, чтобы менять раз принятые решения. Впрочем, не беспокойтесь: конца мира вы не увидите. Вы умрете раньше. Я пришел вам сообщить, что его величество император Мантухассар милостиво приказал посадить вашу голову на кол. Через десять минут придет Каракузо — палач. Прощайте!

Он стремительно повернулся. Серебряная слезинка сорвалась с его носа и упала на пол. Стукнула дверь, щелкнул замок, и он исчез.

— Какой чудак, — пробормотал профессор, — а ведь, мне его действительно жалко.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

### Бой у тюремных дверей.

Через десять минут придет палач. Нам осталось только десять минут. Наконец, наступил тот миг, когда мы можем считать наше дело окончательно и бесповоротно проигранным!

— Что это за шум? — спросил меня профессор, прислушиваясь.

— Мне кажется, — ответил я, — что это шумит какой-то водопад.

— Нет. — сказал профессор, — едва ли. Это шумит толпа.

Даже гранитные стены и чугунные двери нашей тюрьмы не могли заглушить далекий рев. Неужели это собрались любопытные, желающие поглязеть на нашу казнь? Мороз пробежал у меня по коже. Профессор вслух отсчитывал минуты: пять, шесть, семь, восемь.

В начале девятой за дверью послышались шаги. Они медленно приближались. Мы затаили дыхание.

Неужели у палача может быть такая легкая походка? Шлеин-шлеп-шлеп — шлепают босые ножки по каменным плитам. Уж не десятилетнего ли мальчика прислал Шмербиус казнить нас?

Щелкнул замок, дверь отворилась, и в нашу камеру вошла женщина. Лицо ее было закрыто волосами, видны были только сияющие глаза, тревожно бегающие по сторонам.

— Тъяузи хуакай, — прошептала она и вдруг упала перед профессором на колени, обхватила его толстые ноги и стала целовать грязные тупоносые башмаки.

Профессор был ужасно смущен. Его лицо и шея залились краской, и даже уши мучительно запылали.

— Встаньте, встаньте! — закричал он, схватил незнакомку за плечи, насилием поднял ее и поставил на ноги. Волосы кочнулись и на мгновение открыли прекрасное лицо. Профессор узнал ее.

Это была та самая девушка, которую он спас. Она что-то возбужденно говорила на своем языке, но мы не могли понять ни слова. Она страшно спешила, пыталась растолковать нам что-то чрезвычайно важное, помногу раз повторяла одни и те же фразы, размахивала руками и беспрестанно показывала на дверь. Наконец, в отчаянии от нашей непонятливости она схватила профессора за руку и потащила его вон из камеры.

На цыпочках пробирались мы за ней по темному коридору тюрьмы. Коридор был пуст. Тюрьма, казалось, вымерла. Постоянно сновавшие здесь стражники исчезли. Зато рев толпы тут был куда слышнее, чем в нашей маленькой камере. Кто это смеет кричать в мертвом царстве, где разрешается говорить только шепотом? Но девушка ничего не могла объяснить — мы не знали ее языка, — и нам приходилось ждать, пока все само собою узнается.

Двери камер были расположены по обеим сторонам коридора. Перед одной из них девушка на мгновение приостановилась, обернулась к нам и прижала палец ко рту. Потом с величайшими предосторожностями, стараясь не шуметь, приотворила она дверь. Мы вошли в маленькую каморку, освещенную тусклым фонарем. Все стены ее были увешаны ключами,

большими и маленькими. Тысячи камер можно было открыть этими ключами, тысячи заключенных можно было выпустить на волю. А посреди каморки без движения лежал сторож.

Девушка с самым озорным видом переступила через его тело и повесила на место тот ключ, которым была открыта наша камера.

— Что, он убит? — спросил я.

Профессор нагнулся над сторожем, дотронулся до его груди и улыбнулся:

— Нет, спит, как убитый. — сказал он. — Она опоила его снотворным зельем для того, чтобы достать ключ.

Через минуту мы снова были в коридоре. Затем спустились по темной лестнице и увидели впереди открытую настежь дверь, а за дверью — улицу.

Перед этой дверью стояла вся тюремная стража в полном вооружении. А на улице бесновалась толпа.

Лица горожан были искажены от гнева. Почти каждый держал в руке застут, дубинку или камень. У многих были даже копья. С угрожающим ревом наступала толпа на охрану тюрьмы. Охрана пятилась, держа коня на-готове, но не пуская их в ход. Первая кровь еще не была пролита.

— Неужто это?... — спросил я.

— Как видите... — ответил профессор, переминаясь с ноги на ногу от радостного возбуждения.

Охрана продолжала тесниться все ближе к дверям, но от боя упорно уклонялась. Молчанием отвечала она на насмешки и ругань толпы. Стоит этим окруженным, загнанным людям сделать хоть один угрожающий жест — и застуны, камни, дубины разнесут их в клочья. Отчего же они не сдаются? Отчего беспокойно и нетерпеливо всматриваются они вдаль,

куда-то в конец улицы, за косматые головы рабочих, и твердо сжимают копья в руках? Чего еще ждут эти верные слуги деспотии?

Толпа все росла. Увеличивалась давка. Задние ряды яростно напирали на передние. Все старались пробраться вперед.

Как раз против дверей стоял седой стариечек. Ему особенно трудно было выдерживать напор задних рядов, и он едва держался на ногах. Жилы на его сморщенном желтом лице надулись от напряжения. И чем больше его жали и мяли сзади, тем сильнее возгоралась в нем ненависть к стоящим перед ним стражникам.

Наконец, кто-то особенно сильно толкнул его, он не устоял и покатился прямо под ноги воину. Тот, от неожиданности потеряв равновесие, наступил на старика. Старик вскочил и костлявыми пальцами в дикой злобе ухватился за волосы воина. И тотчас же медный наконечник копья пронзил ему горло. Старик захрипел, забулькал, и грохнулся на землю.

Толпа заволновалась и загудела. Камни полетели в стражников, в воздухе завертелись дубины. Задние ряды напирали неудержимо, и передним оставалось только одно — вступить с охраной в рукопашный бой.

Копья, мотыги, дубины подымались и опускались. Вой, скрежет, бряцанье заглушили все. Охрану сбили в кучу, бой происходил на таком маленьком пространстве, что воины мешали друг другу. Закипела густая каша тел, тряпок и меди. Охрана была вооружена лучшие толпы, но толпа была гораздо многочисленнее. Убитый падал, и десятки босых ног становились на его труп, чтобы продолжать борьбу. И защитники тюрьмы ослабевали.

Вдруг слева, снизу, оттуда, куда беспрестанно ноглядывали изнемогавшие воины, послышались отчаянные крики. Улица перед тюрьмой шла под гору. И отряд верных Мантухассару войск напал на толпу с нижней стороны улицы. Толпа не ожидала этого нападения, дрогнула и побежала. Паника обуяла всех. люди топтали друг друга, раскидывая свои мотыги и камни. Охрана дворца, сильно поредевшая, пустилась в преследование. На минуту место перед дверью опустело.

Професор пришел в страшное возбуждение. Он отстранил в ужасе прижавшуюся к нему девушку и бегом пустился на улицу.

— Куда вы? Остановитесь! Это безумие! — закричал я ему вслед, хватая его за полы пиджака. Но остановить его было невозможно, и, чувствуя, что все пропало, я бросился за ним.

У тюремного входа стояли две гранитные колонны. Професор, растопырив руки, обнял одну из них и давил на нее своей могучей грудью.

Что он хочет сделать? У основания колонны трещина. Как бы она не упала и не придавила его своею тяжестью!

— Оставьте ее, професор! Она еле держится!

— Вы думаете? — вскричал он. — Как я рад! Тогда еще не все кончено.

Снизу, вдоль по опустевшей улице во всю мочь неслись воины, разгонявшие толпу. Самых воинов не было видно. это был строй медных щитов, сверкающих в свете фонарей. Сейчас они будут здесь и схватят нас. Многие из убегающих рабочих оборачивались и махали професору руками. Они узнали в нем человека, который швырнул Мантухассара на лестницу, и звали его бежать за собой.

Но профессор не торопился. Он надавил всем телом на колонну, понатужился и вдруг отбежал прочь: колонна закачалась и рухнула. Она была так велика, что перегородила всю улицу от стены до стены. Круглая и хорошо обточенная, она закачалась на скате. Профессор встряхнул волосами, подбежал к ней справа и изо всех сил толкнул ногой. Впрочем и без этого толчка она медленно катилась вниз по улице. Воины замедлили бег и, наконец, остановились. Каждый последующий поворот колонны был быстрее предыдущего. Она неуклонно приближалась к ним, срывая на пути фонарные столбы. Они целую минуту стояли в нерешительности, ожидая, что она остановится. Но она вертелась все быстрее и быстрее. Тогда, вдруг поняв, что нет такой силы, которая могла бы задержать этот катящийся стопудовый столб, они повернулись и бросились в бегство.

Колонна покатилась им вдогонку, оглушительно грохоча. Теперь она неслась гораздо быстрее их. Расстояние между воинами и колонною все сокращалось. Налетев на каменный выступ одного из домов, она раскололась пополам, но не остановилась. Люди бросали свои щиты и копья и в полном беспорядке убегали во весь дух. Но колонна катилась все быстрей и быстрей. И настигла бы их непременно, если бы им не удалось свернуть от нее в переулочек. Она с неистовой быстротой промчалась мимо них, вскоцила на мостик, переброшенный через пересекавший улицу канал, продавила его и рухнула вместе с ним в воду.

— Разогнал! — удовлетворенно сказал профессор и простовато улыбнулся с таким видом, будто нет ничего удивительного в том, что один безоружный человек разогнал целое войско, будто он выполнил только то, что все от него ожидали.



А между тем улица снова наполнилась толпой, на этот раз ликующей и восторженной. Нас окружили рабочие пригородных плантаций.

— Тьяузи хуакай, Лера! — кричали они освободившей нас девушке, а профессору говорили:

— Тьяузи хуакай, Нгору Нголулу!



Как я узнал впоследствии, Нгору Нголулу значит „Гнев Народа“. Отныне это было постоянное прозвище профессора. Он учтиво кланялся во все стороны, неловко растопырив руки и отвечая на их родном языке:

— Тьяузи хуалохум!

Толпа была в восторге. Сотни рук подхватили его, подняли в воздух и стали подбрасывать кверху.

Нелегкое дело — качать этакую тушу, но энтузиазм был так велик, что профессор взлетал на целую сажень.

— Ох, растрясете! Ох, мочи нет! — кричал он по-русски, подлетая к гранитным сводам.

Но вот, наконец, его бережно поставили на мостовую и отпустили. Он вытер раскрасневшееся лицо, исправил съехавший на бок ворот рубашки, отдохнул и заорал:

— За мной, братцы! Ко дворцу! Долой Мантухассара!

Слово Мантухассар поняли все. А угрожающий взлет в воздух гигантского профессорского кулака дал понять остальное. И толпа, увеличиваясь с каждой минутой, пошла за профессором, шумная, буйная, веселая, распевая бунтарские песни, беззаботно сметая с дороги военные посты и заставы.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

### Куафер его величества.

Конечно, Шмербиус солгал профессору, говоря, что он с Мантухассаром на короткой ноге. Император ни с кем на короткой ноге не был, и Шмербиусу как и остальным придворным, приходилось лебезить и низкоклонничать. Но, действительно, Мантухассар относился к нему очень милостиво. Его развлекала хитроватая болтовня юркого чужеземца, расторопного, услужливого и беспрестанно плетущего какие-то интриги и шашни. Эта болтовня, полная намеков и усмешечек, сделалась необходимой мрачному и скучающему повелителю, и он ни минуты не мог прожить без своего визиря.

В то время, когда профессор, окруженный восторженной толпой, шел через весь город к императорскому дворцу, сметая на пути все посты и преграды, Мантухассар сидел у себя на троне, в сквернейшем расположении духа и смотрел в окно. Рядом возле стола суетился Шмербиус. Он грел на керосиновой лампочке щищцы для завивки волос.

— Вот и готово, ваше величество, — наконец, сказал он, посливши палец и трогая им раскаленное докрасна железо щипцов.— Мы непременно должны изменить ваш варварский способ носить волосы. Уж если вы ни за что не хотите стричься, вы должны сделать себе дамскую прическу. Доверьте мне вашу

очаровательную голову, повелитель, и через десять минут вы сами себя не узнаете. Я завью вам локоны а ля мадам Пенлеве, по последней парижской моде.

— По парижской, так по парижской, — равнодушно сказал император, подставляя свою обезьяную голову под раскаленные щипцы. — Мне осточертела твоя глупая болтовня. Кругом смута, измена, бунт, а ты трещишь без умолку и не даешь мне покоя. Надоело!



— Что тревожит моего государя? — спросил Шмербнус, весь поглощенный своей работой, стоя на одной ножке и учию балансируя другой в воздухе. — Вы как любите, спереди волнисто или гладко? Чуть-чуть нагнитесь. Вот так. Благодарю вас. Вы говорите: смута. Какая смута? Я ничего не слышал. Для смутянов есть дворцовая лестница, в которую можно вбить еще два ряда кольев, хе-хе...

— Это не поможет, — угрюмо сказал император. — Они совсем перестали меня бояться. С тех пор, как с ними этот чужеземец...

— Какой чужеземец?

— Огненновласый.

— Профессор?

— Ну да, проф... — император подавился иностранным словом и не мог его договорить.

— Тут что-то не так! — вскричал Шмербиус, — этого не может быть! Три часа тому назад я сам видел его в тюрьме.

— Он сбежал.

— Сбежал?

— Да.

Шмербиус чуть не выпустил из рук щипцы. Рот его широко раскрылся. Но через минуту обычная самоуверенность вернулась к нему.

— Вас обманули, повелитель, — сказал он, в этом нет никакого сомнения.

— К сожалению, мне сказали правду.

— Кто вам сказал?

— Начальник тюрьмы.

— Он лжец!

— Нет, он человек, преданный престолу.

— О, — завопил Шмербиус, хватаясь за голову, — все погибло! Ну, разве можно быть таким опрометчивым, ваше величество! Ведь, я говорил вам, что это опаснейший преступник, что он прибыл в вашу страну исключительно для того, чтобы свергнуть ваше величество с престола ваших предков и передать бразды правления в руки подлой черни. Отчего вы не послушались меня, государь? Отчего вы сразу не отрубили его рыжий чурбан? Нет, вы хотели, чтобы он дважды всенародно оскорбил вас: тогда, отбросив вас, как щенка, на лестницу, и теперь, презрев ваши законы и сбежав из вашей тюрьмы

Шмербиус весь дрожал от негодования и продолжал машинально покрывать гриву императора мелкими колечками. О прическе он больше не думал. Руки его работали сами собой. Торопливо хватал он двумя пальцами левой руки по нескольку высочайших волосков и скручивал их щипцами в тугой завиток.

— Что же мне делать? — спросил перепуганный Мантухассар.

— Докажите, что вы не царек, не царенок, не царишка, а царь, — продолжал Шмербиус, в гневе позабыв о всякой учтивости. — Переловите всех сообщников побега и казните их. Не важно, если в их число попадет и несколько невинных — это послужит им хорошим уроком. Поставьте на ноги армию и полицию и разыщите профессора. Назначьте награду за его голову. Пригрозите казнью всем, кто откажется его выдать. И, главное, не сидите здесь, как пень, а делайте что-нибудь, делайте!

С этими словами он насадил еще несколько колечек на шевелюру своего монарха. Ни одного прямого волоса не осталось на голове повелителя. Мелкие кудряшки ниспадали ему на щеки, на нос. Из гориллы он превратился в барана.

— О, если бы этот бунтовщик попался мне в руки, — бормотал он, — я бы искрошил его в куски!

Но тут двери настежь растворились, и в тронную залу, словно мячик, вкатился тот маленький толстый вельможа, которого мы встретили в носилках возле фонтана. Но от былого его величия не осталось ни следа. С ног до головы он был вымазан какой-то дрянью. По пухлому его лицу расползлись гнилые рыбьи потрохи. Мерзостные остатки позапрошлогодних побед текли по его плечам. С промокшей его

юбченки капала на пол какая-то вонючая жидкость. Колени его дрожали, зубы стучали. Грузно бухнулся он перед троном на свой мягкий дряблый живот.

— Фи, как от вас кисло пахнет, сударь,—сказал Шмербиус, зажимая нос.— Как вы смеете входить в тронную залу в таком виде! Ведь, вы здесь все перепачкаете. Смотрите, какая с вас лужа натекла. Это вам, милостивый государь, не хлев, а императорский дворец!

— Простите меня! — заскулил вельможа. — Пожалейте человека, с которым стряслись такие несчастья! Клянусь Вагхой, я прогуливался для моциона, по предписанию врачей. Я страдаю болезненной полнотой, мне необходимо двигаться. Иду я сегодня по улице и вдруг встречаю двух здоровенных рабочих, которые горланят во всю глотку отвратительную бунтарскую песню. Вы не можете себе представить, как это меня возмутило. Отважно направился я к ним. „Вы забыли императорское предписание, — сказал я. — Простой народ имеет право говорить только шонотом“. И что же вы думаете? Они нагло захохотали. „Солдаты!“ — закричал я проходившим мимо воинам, — „прекратите это безобразие“. Но солдаты тоже захохотали. „Откуда ты свалился,



брюхач?'' — ответили они мне, принцу крови. ..Разве ты не знаешь, что сегодня свобода?'' Тут только я понял, что попал в самое гнездо бунтовщиков. Со свойственной мне отвагой я решил их покинуть и итти во дворец предупредить моего государя. Но едва я сделал несколько шагов, как один из этих негодяев узнал меня. „Да это принц Попкис!'' — закричал он. „Родственник Монтухассара!'' — „Держите его!'' завопили негодяи и бросились за мной в погоню. Я пустился бежать. Но у меня ужасная одышка. Мне вредно бегать. И я решил спрятаться. Ведь, я последний представитель славного рода Попкисов. Не могу же я погибнуть! Быстро завернул я за угол и вдруг увидел большой деревянный ящик. ..Великий Вагха посыпает мне спасение!'' — подумал я, откинув крышку ящика и прыгнул внутрь. Увы, этот ящик оказался помойницей. По горло погрузился я в вонючую жижу. „Лучше выпачкать тело, но остаться верным престолу!'' — думал я. — „Телесная грязь отмоется, а духовная никогда!'' И возблагодарил богов за их милость. Но в эту минуту я увидел над ящиком лицо одного из моих преследователей. Размышляя о превратности судьбы, я нырнул на склизкое дно. Но и тут меня ждала неудача. Самая полная часть моего тела предательски вынырнула на поверхность. Негодяй-бунтовщик обхватил мой живот руками и выволок меня из ящика. Вы представить себе не можете, как хотела толпа. Этот хотят до сих пор стоит у меня в ушах. — „Утопить его в помойке!'' — закричал один из них. — „Не стоит!'' — отвечали другие. — „Эта помойка пригодится для Мантухассара!'' — И меня отпустили. Я побежал во дворец предупредить ваше величество, что они сейчас все придут сюда. Их ведет...  
— Кто? — взвизгнул Шмербиус.

— Багрянокудрый чужеземец. Они зовут его Гневом Народа.

— Я говорил! — заорал Шмербиус, наклоняясь к лицу завитого, как пудель, монарха и осыпая его мелкими капельками слюны. — Вы не царь, а дырявая калоша. Как вы могли допустить до этого? Что? Вы не знаете, что такое калоша? У вас здесь калош не носят? А что такое шляпа, вы знаете? Тоже нет? Так, может быть, вы что-нибудь слышали об ослах? Ах, чорт возьми, эти благородные животные не водятся в ваших подземельях. Так вы вот что! — Он нагнулся, постучал изогнутым пальцем по полу и затем коснулся им монаршего лба. — Понимаете? Растипа! Олух! Встаньте, соберите своих телохранителей, укрепитесь на площади. Нам надо защищаться.

Мантухассар, с темным от злобы лицом, встал, посадил на свои завитые, колышащиеся, как желе, волосы, золотого дракона, и приоткрыл дверь, ведущую на площадь.

Но тотчас же щеки его покрылись смертельной бледностью. Он запатился и тяжело опустился на трон.

— Поздно! — произнесли его посиневшие губы.

Улицы-ярусы были полны медленно движущейся толпой. Толпа с факелами в руках тянулась к дворцовой площади и пела. Тысячеголосому пению гулом отвечали своды гигантской пещеры. Сколько их, этих голодных людей, требующих свободы и мести! Вот голова колонны уже сошла вниз и ползет по площади прямо к дворцу, а хвост ее все еще теряется в переулочках города и, звеня за звеном, через широкую арку, выходит на верхний ярус. В колеблющемся свете факелов Шмербиус мог уже различать лица

идущих впередних рядах. Первый, кого он узнал, был, конечно, профессор. Его огненная голова, как солнце, плыла над толпой. Видный отовсюду, он был живым знаменем этого шествия. Как яростно махал он руками, похожими на крылья ветряных мельниц! Как пылали его обширные щеки! Как оглушительно, в бешеном восторге, хохотал он во всю свою просторную глотку! Как зычно рычал никому непонятные, но всем родные слова:

— Так их, братцы! Долой тиранов!

По правую руку моего доброго друга зоркие глаза Шмербнуса, несомненно, заметили юную Леру, красивейшую девушку страны. Легкою поступью шла она вперед и подпевала толпе, икоса, уголками восторженных глаз поглядывая на своего шумного спасителя.

Видел он и меня, скромно шагавшего по левую руку профессора. видел изможденные лица окружающих нас людей: женщин, осыпанных желтой грибной пылью, и мужчин, спины которых были покрыты рубцами от жестких бичей.

Зрелище это не доставило ему ни малейшей радости. У Мантухассара опустились руки, он сидел, как каменный истукан. А толстый вельможа, вне себя от страха, на карачках заполз в самый темный угол тронной залы и, повизгивая, сел на пол, посреди большой лужи, натекшей с его мокрых одежд.

Но им предстояло увидеть еще более грустные вещи. Из окна дворца стали выскачивать вооруженные люди и, вырывая свои коня в сторону, сбегать по лестнице навстречу толпе.

Это были телохранители государя. Они обнимались с горожанами, восторженно глазели на профессора и кулаками грозили дворцу. Народ и армия побратал-

лись. Толпа заполнила всю площадь, подошла к дворцу и остановилась.

— Все кончено, — сказал Мантухассар, — нам остается только умереть.

— Нет, — ответил Шмербиус, — есть еще одно средство.

— Какое? — спросил тиран, и глаза его засверкали надеждой.

— Ах, ваше величество, вы ужасно неопытны в революциях. А между тем я видел такие революции, какие вам и не снились. Впрочем, они все страшно похожи друг на друга. Эта толпа, несмотря на всю свою злость, удивительно легковерна. Ее ничего не стоит провести.

— Помоги же мне, мой верный слуга, — сказал Мантухассар. — Что тебе надо для этого? Может быть, ты хочешь подкупить их главарей? Подыми мой трон, под ним спрятаны четыре мешка с золотыми монетами.

— Как вы наивны! Неужели вы не знаете, что вожди революций неподкупны! О, это такие идиоты! Они все делают только ради других. Для того, чтобы их надуть, мне нужна...

— Что?

— Маленькая красная тряпочка.

— Только! На, бери, — и повелитель оторвал лоскуток от красной обивки трона.

Шмербиус вставил тряпочку в петлицу фрака, схватил щипцы и выскоцил на лестницу.

Увидав его толпа зашумела.

— Долой царских лизоблюдов! — заорали тысячи голосов. — Вон его! К дьяволу!

Шмербиус скорчил умильную, торжественную, грустную гримасу и что-то закричал.

Но гул толпы заглушил его слова. Тогда он отчаянно затрещал щипцами, приложив руку к сердцу, смахнул слезу и замахал красной тряпкой. Толпа смолкла.

— Товарищи! Братья! Друзья! — завизжал он проникновенно и искренно. — Мое сердце обливается кровью. Я вижу, как мучается, как страдает наш бедный народ. Великий Вагха свидетель, что я с вами, дети мои. И с вами ваш мудрый повелитель Мантухассар. Что? Вы говорите, что он тиран и кровопийца? Увы, вы правы. Он был тираном. Я говорю был, братья, потому что он больше не тиран. Ваши слезы сделали чудо — они размягчили его чёрствое сердце. Он преобразился. Он разорвал свои царские одежды и с ужасным воплем расцарапал свою грудь. Боже мой, что это были за раны! „Отпусти меня, Аполлон“, говорил он. — Я пойду и отдам себя в руки моего несчастного народа, перед которым я так виноват! Пусть он вырвет мое преступное сердце. Я не хочу больше жить, Аполлон!“ А слезы так и текут. Ну, думаю я, очень страдает человек надо ему помочь. Что поделаешь, такой уж я жалостливый. И это, представьте, с раннего детства. Меня еще в школе товарищи называли: „Аполлон Золотая Душа“. Не могу я видеть, когда люди страдают. Вот я и говорю ему: „Не убивайтесь так, ваше величество. Это благородные слезы. Народ вас простит. Надо только рассказать ему о вашем преображении“. — И вот, я перед вами, друзья мои. Вы можете быть совершенно спокойны. Ваше дело в надежных руках. Радуйтесь, мужи, и радуйтесь, жены. Завтра правительство приступит к обсуждению реформ. У вас будет столько свобод, сколько вы захотите. Вы будете жить счастливо и мирно. Ура!

— А пока, дети мои, расходитесь. Не мешайте успокоиться вашему государю. Его спокойствие теперь дороже всего. Возвращайтесь каждый к своей работе. Спокойно ложитесь спать. Завтра вы проснетесь при обновленном строев.

Притихшая было толпа еще в середине этой речи начала шуметь и улюлюкать. Но когда Шмербиус произнес слово: „расходитесь“, — рабочие взвыли от негодования.

— Не слушайте его, он все врет! — заревел профессор, не понявший ни слова, но возмущенный красивым платочком и сусальным видом Шмербиуса. — Держите его, он грозит вам еще неслыханными бедами.

— Молчите, профоссор, — по-русски сказал Шмербиус. — сегодня...

— Сегодня тридцатое апреля, и поэтому ты не уйдешь от меня живым.

И профессор ринулся на лестницу, шагая сразу через четыре ступени. Шмербиус стал пятиться назад, к дверям, но расстояние между ними все уменьшалось. Тогда, желая остановить профессора, Шмербиус кинул в него щипцами. Но профессор поймал их налету.

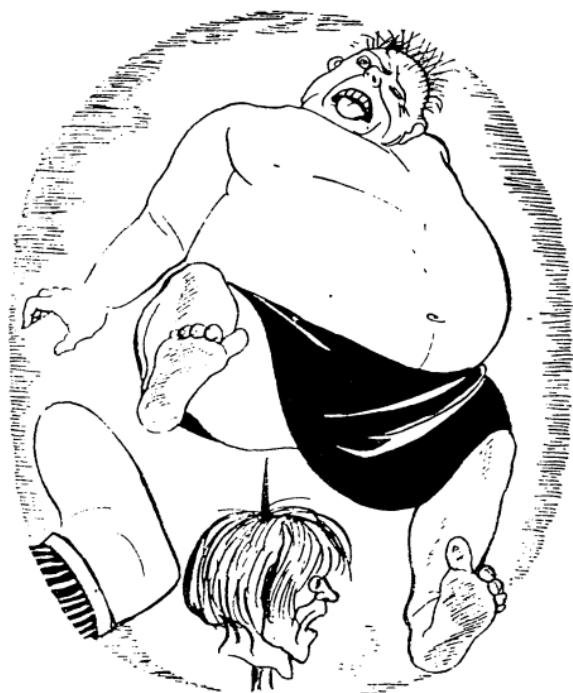
— Я завью твои длинные уши, — прокричал он, продолжая преследование.

Но у Шмербиуса было и другое оружие. Засовывая руку в жилетный карман, он стал швырять в лицо своему врагу дюжинами варшавских шпилек. Профессор прищурил глаза, заслонил лицо руками, но не остановился.

К дверям они подбежали одновременно. Но все же Шмербиус первым проскочил в них. Он схватил за плечи сидевшего в тронной зале пузатого вель-

можу и толкнул его навстречу профессору. Два толстяка столкнулись и едва удержались на ногах. Двери с шумом захлопнулись перед ними.

Зажав нос рукой, чтобы предохранить его от ужасной вони, разъяренный профессор накинулся на злополучного вельможу и поддал его ногой, словно футбольный мяч. Тот взлетел в воздух, несколько раз перевернулся на лету, сбил с места одну из украшавших лестницу голов и грузно сел на ее место.



## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

### Тридцатое апреля.

— Как жаль, ваше величество, что вы не учились в екатеринославской прогимназии. Если бы вы знали физику, мой план был бы вам гораздо понятнее. Он весь построен на физических свойствах земной коры, а преподавание физики у нас в прогимназии было поставлено отлично.

Трон был отодвинут, и стоявшие под ним четыре мешка с золотыми монетами брошены в угол. Полуистлевшая ткань этих мешков порвалась во многих местах, и по всему полу тронной залы были рассыпаны золотые слитки. Шмербиус с полным равнодушием относился к этому богатству и спокойно топтал его ногами. Он был занят гораздо более важным делом.

В полу под троном находилось квадратное отверстие, закрытое чугунной решеткой. За этой решеткой лежал путь к осуществлению его разрушительной мечты. И он визгливой пилкой перепиливал ее толстые прутья.

За стеной раздавался неистовый гул толпы. Исполинские кулаки профессора колотили в железные двери дворца. Шмербиус был в приподнятом состоянии духа, сердце его лихорадочно билось, ему хотелось двигаться и говорить.

— Стучи, стучи, дорогой мой. — болтал он, перепиливая последний чугунный прут. — Отбивай себе

кулаки. Даже твои кулаки не в состоянии пробить  
шести-верниковое железо. Всякая сила имеет свой  
предел. Беспредельна только сила смерти. И совсем



не плохо быть ее приеджником. Не правда ли, ваше величество?

В эту секунду раздался такой оглушительный удар в дверь, что с потолка посыпалась штукатурка.

— Они втащили на лестницу таран, — сказал Мантухассар, потряхивая своей шутовской прической. — Через две минуты дверь будет разбита.

— Что, струсил, старый палач? — усмехаясь спросил императора Шмербиус, с новым усердием налегая на напильник. — Зуб на зуб не попадает? Да ты не палач, а палаченок. Бери пример с меня, с Аполлона Шмербиуса. Ты отрубил несколько сотен голов и теперь тряслесь за свою дрянную шкуру. А я тебе покажу последнее слово техники в нашем ремесле. Неслыханный американец в палаческом искусстве. В одну секунду — весь мир вверх тормашками! Мгновение ока — и ни одного живого существа во вселенной. Плач новорожденных и предсмертные хрипы стариков, шумные свадьбы, веселые пиры и тяжелый подневольный труд, школьники с ранцами за плечами, пахари, выезжающие в поле на заре, банкиры, сидящие в накуренных душных конторах, твои современники, никогда не видевшие солнца, войны, союзы, государства, все людские дела, тревоги и радости будут сметены на век, навсегда одним мановением моей гениальной руки. Учись, дуралей, вот это казнь так казнь!

Последний прут решетки был перепилен. Шмербиус положил ее в сторону и торопливо стал опускаться в отверстие по каменным ступеням. Мантухассар последовал за ним. Пройдя двести-триста ступеней, они услышали, как рухнули дворцовые двери и как оглушительный голос профессора сказал:

— Решотка — последний знак пути! Они там — в погоню!

Каменные ступени окончились, началась длинная галерея, и ни один звук уже не проникал к ним.

Они чрезвычайно торопились. Шмербиус шагал впереди с фонарем в руках. Император едва успевал за ним.

— Куда приведет нас эта дорога? — кричал он ему вслед, оглядывая стены растерянным взором и дыша, как загнанный зверь.

— Ха-ха-ха! захохотал Шмербиус, и хохот его был до того страшен, что мороз пробежал по коже беглого императора. — Он все еще полон надежд! Ха-ха-ха! О, тварь, ты не знаешь, что это за дорога. Это путь в Никуда, в Ничто, это единственная лазейка, которая соединяет наш мир с Довременным Хаосом.

Даже при тусклом свете фонаря было видно, как позеленело от ужаса лицо государя.

Одна из стен коридора внезапно исчезла, и на ее месте открылась черная пропасть. Шмербиус остановился, оторвал листок записной книжки, зажег его о пламя фонаря и швырнул вниз. Как пылающий парашют, медленно стал спускаться листок в глубину. Внимательные взоры провожали его. Он падал и падал, уменьшаясь с каждым мгновением. Наконец, его огонек стал не больше чуть видной звездочки, мелькнул в последний раз и исчез из вида.

Мантухассар закрыл глаза и тяжело прислонился спиной к стене. Он был подавлен глубиной этой немоверной бездны.

Вперед! сказал Шмербиус, и они помчались вперед по узкому уступу между стеной и пропастью. Шмербиус бежал с удивительным проворством, и Мантухассар начал отставать. Ему мешала его хромая нога.

Глухая стена преградила им путь. Шмербиус первый добежал до нее, любовно хлопнул ее ладонью и торжествующе сплюнул в бездну.

— Наконец-то я достиг тебя, милая, — говорил он  
стене, — тебя, столько веков охранявшую мир. За тобой  
бушуют воды, которые рвутся в потухшие вулканы  
и жаждут воспламенить их. Ты одна не даешь им выр-  
ваться на волю. Ты, нерушимая, позволила на суровом  
граните земли завестись той жалкой плесени,  
которую называют жизнью. Много миллионов лет  
ты честно служила ей и готова прослужить ей еще  
столько же. Но нет, это тебе не удастся. Я знаю  
твою тайну, молчальница, и горе миру, что эта тайна  
попала ко мне. О, сладкий миг осуществления моей  
многолетней мечты! О, долгожданный миг мести! О тем-  
ные грезы бессонных ночей! Каким торжеством напол-  
нено мое беспокойное сердце. Свершилось же, свершилось!

Он любовно прижал устами к холодному камню.  
потом нашупал маленькое отверстие шириной в мизи-  
нец и сунул в нее капсюль с динамитом. Держась  
за шнур, служивший фитилем, он вынул из кармана  
спичечный коробок.

В эту минуту к нему подбежал император. Шмер-  
биус направил ему в лицо свет своего фонаря и удив-  
ленно отпрянул.

Лицо Мантухассара было полно решимости. Вечно  
блуждающий взор его теперь был устремлен прямо  
в глаза сообщника. Он тяжело дышал и остановился,  
только почти вплотную подбежав к Шмербиусу.

— Я понял, — пробормотал он, — я понял, что  
ты хочешь сделать. Вернемся...

— Куда вернемся?

— Назад, во дворец, уйдем отсюда...

— Да вы рехнулись, ваше величество! Ведь, там  
вас убьют!

— Я знаю. Пусть. Но я тебе не позволю... Мне  
говорили об этом месте жрецы. Древние мудрые

народы, населявшие когда-то нашу страну, воздвигнувшие статую Великого Вагхи, знали о нем. И они передали это знание нашим жрецам. Ты замыслил небывалое преступление. Я тебе не позволю. Вернемся.

— Этот налач, кажется, в самом деле решил учить меня милосердию! — нетерпеливо воскликнул Шмербиус. — Молчи, глупец! Не тебе, ничтожный деспот паршивой норы, становиться поперек дороги Аполлону Шмербиусу.

И он чиркнул спичкой.

Но Мантухассар был непреклонен. Он вырвал горящую спичку из рук Шмербиуса и кинул ее на пол.

— Идем назад! — еще раз проговорил он.

— Ах, ты так! — в бешенстве завопил Шмербиус. — Да я тебя!..

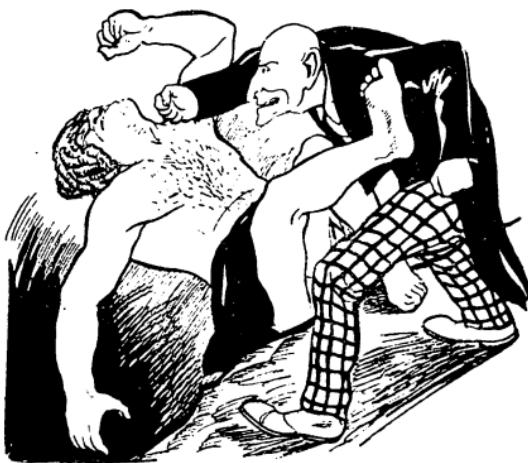
И он кинулся на него. Они обхватили друг друга и стремительно завертелись по узкой площадке над пропастью. Бешено замелькали фалды Шмербиуса в тусклом свете фонаря. Гигантские тени запрыгали по противоположной стене пропасти. Мантухассар был сильнее Шмербиуса, но ему мешала хромая нога. Шмербиус юлил, вертелся и выскальзывал из рук. Он налетал на императора с самых неожиданных сторон. У них обоих была одна цель — сбросить противника в пропасть. Вертелись они на самом краю уступа. Несколько раз ноги Шмербиуса повисали над бездной, но цепкие руки его, как железные крюки, впивались в императора, тело его извивалось, как тело змеи, и он вылезал на гранитную площадку. И, оглушая императора мелкими, быстрыми, неожиданными ударами, он толкал его вниз.

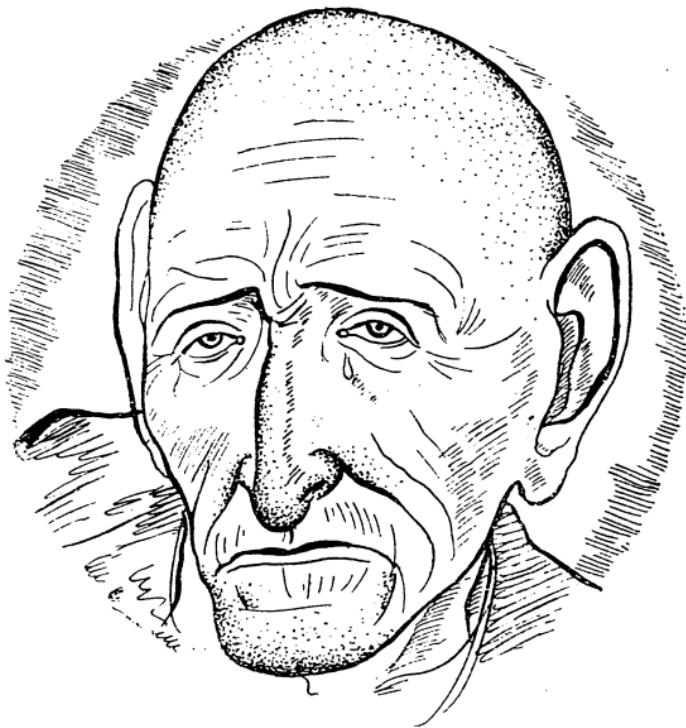
Они то мелькали в снопе лучей, бросаемых стоящим на полу фонарем, то исчезали во мраке. Мантухассар

стал уставать от непрестанных нападений своего врага. Нагнувшись, чтобы поймать его за ноги, он оступился, получил оглушительный удар кулака по лицу, широко взмахнул руками и рухнул в пропасть

— Наконец-то,— прошептал Шмербиус, тяжело вздохнул, вытер руками пот, чиркнул спичкой и зажег фитиль. Потом, оставив фонарь на полу, спрятав голову в плечи, сутулый и маленький, побрел назад, в темноту.

Он не успел пройти и тридцати шагов, как грохот взрыва заставил его вздрогнуть, яркий свет ослепил его, и неистовый порыв ветра сбил его с ног.





## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ К небу! К солнцу!

— Скорей, скорей! — кричал профессор и, пыхтя как паровоз, мчался по узкому карнизу над бездонной пропастью.

Я еще не совсем пришел в себя от ужасного взрыва, глаза залепила пыль, в ушах стоял гул, и мне трудно было поспевать за ним. Позади я слышал легкое дыхание Леры. Девушка не отставала от нас ни на шаг.

— Скорей, скорей! — кричал профессор. — Надо узнать, что произошло. Взрыв был, а все вокруг цело и невредимо. Морские воды должны были хлынуть в кратеры потухших вулканов, земная кора — покрыться трещинами, города и села — потонуть в огненной лаве, температура — подняться до 10.000 градусов! После этого взрыва должны были возникнуть новые горные хребты, перемениться очертания материков. Все живые существа на земле должны были мгновенно погибнуть. Отчего же все стоит на месте? Ведь мои вычисления были сделаны с точностью до одной стотысячной миллиметра!.. Не понимаю! Да это бред, сумасшествие!..

— Ваши вычисления были совершенно правильны, — вдруг прозвучал из темноты дребезжащий негромкий голос. — Но вы упустили из виду одно чрезвычайно существенное обстоятельство...

Профессор с разбега налетел на Шмербиуса и чуть не сбил его с ног.

— Какое обстоятельство упустил я из виду? — высокомерно спросил профессор, останавливаясь и тяжело дыша.

Он очень дорожил своим ученым авторитетом и не любил, когда сомневались в правильности его теорий.

— Эта сеть пещер соединена не с морем, а с пустыней... с пустыней Гоби, — едва разжимая губы, мертвенным голосом выговорил Шмербиус. — Увы! я догадался об этом только сейчас, после взрыва.

Я направил на Шмербиуса свет своего фонаря и отпрянул — так изменился этот человек за те полчаса, что я его не видел. Он весь поблек и опустился. Нос его повис еще ниже, голова беспомощно

болталась на похудевшей шее. Кожа на лице пожелтела. Жидкие петушиные ножки старчески дрожали в коленях; он даже ростом как будто стал меньше. Беспространственную безнадежность веяло от всей его щуплой фигурки.

— То-есть, как это не с морем, а с Гоби? — закричал профессор, сверху вниз глядя на жалкую лысину своего врага. — Что вы за ересь несете! Как тогда могли бы произойти катаклизмы третичного периода?

— В третичном периоде пустыня Гоби была морем. Вся Центральная Азия — выступившее из воды морское дно. Теперь это море высохло. Мой план не удался только потому, что я опоздал на несколько тысячелетий...

Профессор, как громом пораженный, замер на месте с выпученными от изумления глазами. Потом грохнулся на пол и покатился, запустив обе гигантские лапищи в волосы.

— О, старый рыжий дурак! — вопил он, колотя себя в грудь кулаками. — Это называется ученый! Это называется геолог! Забыть о том, что Центральная Азия... ах, чорт возьми! Позор, неслыханный позор!



Лицо Леры, не понявший ни слова, выражало такую за него тревогу, что было жалко на нее смотреть.

— Встаньте, встаньте, профессор! — сказал я, нагибаясь и глядя его по волосам. — Вы должны радоваться, а не печалиться. Ведь мы добились всего, чего хотели. Миру больше не грозит опасность. Аполлон Григорьевич совершенно безвреден. Все осталось попрежнему: люди трудятся, птицы поют, леса шумят. Даже мыши, как встарь, будут жить в кармане вашего пиджака. Не огорчайтесь, профессор. Ошибаться свойственно и самым великим ученым.

Профессор вскочил на ноги.

— Бежим отсюда! — вскричал он. — К черту эти проклятые ямы! Мне душно без воздуха, без солнца! Назад! К людям, деревьям, городам железным дорогам! Сию же минуту назад! Вы тоже с нами, Аполлон Григорьевич?

— Тоже, — едва слышно произнес Шмербиус и поплелся за нами в самом хвосте.

Всюду мы натыкались на разрушения, произведенные взрывом. Скалы потрескались, обломки гранита преграждали нам путь назад. Наконец, нам пришлось остановиться.

— Что же делать? — в отчаянии вскричал профессор. — Куда идти? Неужели мы навеки погребены в этой каменной могиле? Мне осточертела непроглядная тьма! Я хочу домой, в Россию, в Питер!

— Есть другой путь, — сказал Шмербиус.

— Ведите нас! — закричал профессор.

Шагов через пятьдесят он вдруг свернулся в какую-то трещину. Мы долго плутали вслед за ним в чрезвычайно узких и низких коридорах. Особенно тяжело было профессору: он то стукался лбом о выступ потолка, то застревал, как пробка, между стенами, и нам приходилось его проталкивать. Наконец, мы вышли в широкую пещеру, поднимавшуюся

вверх под углом в тридцать градусов. На ее гладко отточенных стенах были явные следы заступа. Скользкие неровные ступеньки вели нас вверх. Мы плутали во внутренностях Великого Вакхи.

По сравнению со Зворыкой, Шмербиус казался нигмеем. Он торопливо семенил ножками, стараясь не отставать от гигантских профессорских шагов, и, наконец, заговорил:

— Теперь я все понял,—глухо сказал он.— Всяк сверчок—зной свой шесток.

— Это вы о чём? — спросил профессор.

— О себе, только о себе. Я немощный, хилый, слабый... Мне не надо было браться за такое грандиозное дело.

— Отчего бы, Аполлон Григорьевич, вам теперь, по возвращении в Ленинград, не открыть парикмахерскую? — спросил профессор после продолжительного молчания.

Шмербиус повернул к нему свое опухшее от слез лицо.

— Вы это серьезно? — с необыкновенною живостью спросил он.

— Совершенно серьезно.

— И по-вашему, не стыдно?

— Что не стыдно?

— Не стыдно снова вернуться к скромному ремеслу после всего, что было?

— После чего же?

— После того, что я воображал, будто могу единолично разрешить вопрос: быть или не быть мирозданию?

— Нет, не стыдно, — сказал профессор.

Шмербиус несколько минут молча шагал по лестнице.

— Вы знаете, я и сам так думаю, — наконец, проговорил он простодушно. — Но мне не хотелось рассказывать вам об этом. Я боялся, что вы будете смеяться. А я не выношу, когда надо мной смеются. Я тогда выхожу из себя и способен на всё, что угодно. Нет, скажите пожалуйста, чем парикмахерское искусство хуже других? Почему его обижают? По-моему, его надо поставить наравне с живописью. И даже выше, о, гораздо выше! Произведения живописи украшают стены человеческого жилища, а парикмахерское искусство призвано украшать самого человека. Оно сейчас пало, оно влечит жалкое существование, но я сумею поднять его на небывалую высоту. Это мой долг, мое призвание! Я буду Микель-Анджело дамских причесок, Рафаэль усов и бород. Если человечество преобразить внешне, оно преобразится и внутренне... О, нет, я не зарою свой талант в землю! Вы еще услышите об Аполлоне Шмербиусе, профессор!..

Новая идея завладела им целиком, и он безудержанно отдался ей. Он весь был полон ею, как раньше был полон другой, так непохожей на эту. Мысли его торопились, наскакивали друг на друга, безостановочно неслись вперед. И он говорил, говорил, говорил...

Часы проходили за часами, а бесконечная лестница продолжала вести нас вверх. Мы смертельно устали, но профессор не хотел останавливаться.

— Вперед, вперед! — кричал он. — О, скорей бы увидеть небо!

Вот, наконец, и голова каменного гиганта. Это огромная пещера, величественным куполом восходящая кверху. Мы расположились в ней на отдых.

— Смотрите, смотрите! — закричал я. — Свет!

Чуть заметное красноватое сияние проникало в пещеру справа и слева через два отверстия. Мы потушили наши фонари и подняли головы, стараясь определить источник света.

— Это уши Великого Вакхи, — сказал Шмербнус. — Они помогут нам выбраться наружу. Через них проникает сюда сияние городских огней.

— Идемте! — закричал профессор, и через минуту мы все четверо стояли в колоссальном ухе и, как с балкона, любовались многоярусным городом Золотых Ручьев.

Теперь он еще больше напоминал театр. Ярко сияли огни, ярусы громоздились правильными полу-кругами. И весь он гудел, как гигантский улей. От былой тишины не осталось ни следа. То там, то сям, у фонтанов, на тумбах и фонарях стояли какие-то люди и что-то говорили, размахивая руками. Их слушали многочисленные толпы. Революция, как дрожжи в тесте, баламутила город и правила им.

Но профессор с тоской смотрел на эту висячую столицу, в освобождении которой он принимал такое горячее участие.

— Неужели нам придется вернуться туда? — спросил он.

— О, это совсем не трудно, — вскричал Шмербнус. — От уха до плеча висят серьги, а от плеча к самому дворцу ведет лестница.

И он сел на край каменной мочки, спустив ноги вниз, в темноту.

— Мне надоели эти жалкие подземелья, — сказал профессор и надул губы, как раскаризничавшийся мальчик. — Я хочу домой. Нет ли отсюда прямого выхода на поверхность земли?

Шмербнус с сомнением покачал головой.

— Не знаю, — сказал он. — Можно поискать. Голова Вакхи должна быть недалека от поверхности. Мне даже кажется, что весь он находится во внутренности какой-то горы.

— Вверх! — вскричал профессор и приготовился карабкаться на ухо.

Но бедная Лера, казалось, сердцем почуяла, о чем идет речь. Она простерла руки к своему родному городу и что-то жалобно закричала.

— Спросите ее, Аполлон Григорьевич, может быть, она хочет вернуться? — сказал профессор. — Неужели нам суждена разлука? — с искренней грустью добавил он.

Шмербиус перевел девушке вопрос профессора. Она обернула к нему свое раскрасневшееся лицо.

— Мне жаль покидать родину, — ответила она, — но Нгору Нголулу спас меня от смерти, и я никогда не расстанусь с ним.

Профессор был растроган до слез.

За мной, друзья мои! — закричал он. — К небу, к солнцу!

Влезть на ухо было не трудно. А череп Вакхи был так шехороват, что нам ничего не стоило взобраться на него. Своды гигантской пещеры, в которой помещалась статуя, были совсем близко. Профессор поднял руки, вытянулся, и кончики его пальцев коснулись потолка. Он стал шарить руками, стараясь найти хоть трещинку, только бы пролезть немного выше. Он стоял на цыпочках и пыхтел от натуги, но трещинок в сводах не было. Я уже совсем-было начал сомневаться в успехе этого предприятия, как вдруг он вскрикнул.

— Что, отверстие? — спросил я.

— Нет, корень.

— Корень?

— Ну да, корень какого-то дерева.

— Не может быть! — вскричал я. — Ни одно дерево не может прорости такую толщу.

— А почем вы знаете, что здесь толща? Этот корень живой, он полон сока. Мы его сейчас вывернем. Подкатите мне под ноги тот камень. Я хочу удобнее ухватиться.

Он понатужился, раздался треск, и сырая земля посыпалась нам на головы.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

### На приступ.

— Товарищи, — сказал Сыроваров, когда стрельба стихла и остатки измученного, израненного отряда окружили его, — нам остается только одно...

Он взглянул на черные скалы, громоздившиеся у него за спину, на глубокую долину, подернутую прозрачным зеленоватым кружевом чуть распускающихся листьев, на высокий клен, выросший из полуаршинной терраски над их головами и каким-то чудом удержавшийся там, на веселое майское солнце, и затем на изможденные заросшие бородами лица своих молчаливых друзей.

И один из них, бывший уральский рабочий, с красным зубчатым шрамом на правой щеке, докончил его фразу:

— Умереть.

Девятнадцать храбрецов стояли на маленьком горном уступе и смотрели, как два белогвардейских полка, хунхузский стрелковый и тянь-шанский саперный, приготовлялись к атаке. Полки подходили к горе ио-батальонно, в полном порядке, и было видно, как вспыхивали на солнце их штыки, когда они выходили на открытую предгорье. Им незачем скрывать своих передвижений — у красных вышли патроны и их не стоит бояться.

А здесь наверху осталось только знамя, даже, впрочем, не знамя, а рубашка красноармейца Смирнова, под которым вчера была убита лошадь — он упал под нее, и она залпила его рубаху своею кровью. Теперь эта рубаха, пробитая тридцатью восьмью пулями, болталась на длинном шесте, честною конскою кровью сияя врагам.

И еще были — камни.

Они волокли эти камни к краям пропасти, на зеленеющем дне которой стропились вражьи полки. Если бы сторонний наблюдатель мог видеть, как эти оборванные люди волокли обросшие бурым мхом глыбы, он подумал бы, что они собираются строить дом или памятник, до того спокойно приготовлялись они к единственному, что их могло ожидать, — к битве и смерти.

Даже собака — и та была спокойна. Подобранная в разграбленной бандитами и оставленной жителями деревне, она привязалась к отряду и неразлучно ходила по пятам за Сыроваровым. Он тоже любил ее и, обычно неразговорчивый и замкнутый, болтал с ней целыми часами о братстве народов, о мировой революции и о своей дочке, маленькой девочке, которую он уже давно не видел.

Вот, наконец, камни свалены высокой стеной к краям уступа, можно и отдохнуть! Это последний отдых. Желтоватый махорочный дым полетел в голубое небо. Хлеба уже не видели целую неделю, конина вышла вчера, но махорка еще оставалась на дне сыроваровского кармана, и он поделился со всеми по-братьски.

Три всадника отделились от строящихся полков и поскакали вверх по горной тропинке. Тропинка становилась все круче, лошади или все медленнее и, наконец, совсем отказались идти. Всадники спешились, привязали лошадей к кусту и медленно побрали вверх

пешком. Один из них нес белое полотнище — парламентерский флаг.

Наверху уже давно заметили их. И даже узнали. Это были: штабс-капитан Авсеенко, собственной персоной, и кривой писарь Кирилюк. А белый флаг нес казак-вестовой.

Все шли вытянувшись, нетерпение и любопытство росло. Может быть, у наиболее слабых на мгновение мелькнула надежда. Но она сразу исчезла при одном взгляде на уставную кошачью физиономию штабс-капитана. От этого коротконогого животного нельзя было ждать ни жалости, ни благородства.

Склон горы с каждым шагом становился все круче и круче, дальше пробираться можно было только ползком. Штабс-капитан решил остановиться.

— Эй, вы! — закричал он, задрав голову кверху, насколько ему позволяла короткая, толстая шея. — Знаете вы меня?

— Знаем! — отвечало несколько голосов.

— Я командир первого императорского хунхузского полка.

— Ты — бандит и ночной разбойник.



— Я — главнокомандующий христолюбивого русского воинства, борющегося против мятежников.

— Ты — изменник свободы и революции.

— Я — Авсеенко, правитель всея Сибири.

— Ты — живодер и кровопийца.

— Я предлагаю сохранить вам жизнь и свободу с одним условием.

— С каким? — крикнул Сыроваров.

— Выдайте нам Сыроварова, и вы навредимые уйдете отсюда куда вам будет угодно.

Наступила мучительная тишина. Все в упор смотрели на Авсеенку, и все молчали.

Сыроваров повернулся лицом к товарищам.

— Я готов, — сказал он.

— Ну, как же? Решайте! — закричал штабс-капитан.

— Я готов, товарищи, — повторил Сыроваров.

— Убирайся к черту, ободранная свинья! — закричал Смирнов, тот самый, чья рубаха служила знаменем, в диком исступлении грозя офицеру кулаками: — или я вот этим камнем размозжу твою подлую голову и выпущу сало из твоего набухшего брюха! Между нами нет подлецов, подлецы стоят там, внизу, за твоей спиной.

— Вон его, вон! — закричали красноармейцы.

— Ах, вот как! — осипшим от злобы голосом сказал штабс-капитан, и лицо его налилось кровью. Вы не согласны! Да через десять минут я заберу вас голыми руками! Я изжарю вас на медленном огне, я засеку вас до смерти, слышите, засеку!

— К дьяволу, убирайся к дьяволу! — раздалось в ответ.

Он повернулся и стал спускаться к лошадям, обиженно повиливая задом.

Вся долина засуетилась и заволновалась. Люди, как муравьи, врассыпную кинулись к горе и по-муравьевому полезли вверх, цепляясь за кустарник. Раздалось несколько выстрелов, — впрочем, только для пущего страха, потому что красноармейцы, засевшие на уступе, были снизу не видны, и только знамя храбрецов пострадало еще в нескольких местах. С уступа терпеливо ожидали приближения этого текущего вверх беспорядочного потока. И только тогда, когда он настолько приблизился, что можно было различить лица ползущих впереди и даже кокарды на их фуражках, Сыроваров приказал скатывать камни.

И вот, одна из подготовленных глыб, дружно подталкиваемая сзади, сдвинулась с места. Медленно докатившись до края пропасти, она на мгновение остановилась, лениво перевалилась со стороны на сторону, и вдруг, как бы собравшись с духом, рухнула вниз. Горное эхо вздрогнуло и загудело. Бешено ворвалась она в заросли кустарника, облепившего склон, разрушая все на своем пути. Каменная глыба стала зверем. Мертвая, она приобрела и жизнь, и силу.

Кроша сучья, выкорчевывая корни, соскабливая дерн, она, как мячик, подскакивала на уступах, пролагая среди веселой зелени мертвую извилистую дорогу, усыпанную щепками и осколками разбитых камней.

Еще при первом ее прыжке наступающие замерли на месте. Она не дала им опомниться и стремительно



вторглась в живую копошащуюся гущу. Крик ужаса встретил ее. В неистовой пляске, она размазывала обрывки их тел по склону горы. И муравьиный поток покатился назад, вниз, в долину.

Сыроваров, бледный, с сжатыми синими губами, распахнул кожанную куртку и, как утопающий, жадно втянул в себя воздух. Он сказал только одно слово: —

— Еще!

И новые глыбы помчались впередгонку по склону. Мелкие легкие камни обгоняли неповоротливых тяжеловесов и, высоко подскакивая, наполняли воздух пронзительной трескотней. Камни-великаны солидно гудели в ответ, все разрушая на пути.

Против каменной армии оборона невозможна. Все, кто еще не был раздавлен, в ужасе бежали он них в долину.

— Перестаньте! — закричал Сыроваров. — Ведь вы раскидываете все камни. Через полчаса они возобновят наступление — чем мы будем тогда защищаться?

Но победители были разгорячены своим успехом — первым успехом после целой недели поражений. Победа сделала их расточительными. Они продолжали подкатывать и швырять камни, пока ни одного живого существа не осталось на склоне.

Уцелевшие от разгрома продолжали бежать через открытое предгорье к лесу. Напрасно маленькая пузатенькая фигурка штабс-капитана металась из стороны в сторону, стараясь их удержать. Они остановились только у новозок, стоявших возле самого леса.

Но для запертых на утесе людей это была только отсрочка. Солнце спускалось все ниже и ниже, приближаясь к раскинутому над их головами клену, и длинные тени ползли по долине. Долина наливалась

мраком, как влагой. И в этом мраке смутно можно было различить строящиеся и движущиеся полки. Подготавлялся новый штурм уступа, на этот раз совершенно беззащитного. Камней больше не было.

Когда чёрные муравьи-человечки снова поползли вверх по склону, красноармейцы стали собирать щебень и гальку. Но Сыроваров остановил их рукой.

— Оставьте, братишки, сказал он, — этот мусор все равно застрянет в кустах.

Достав из кармана листок бумаги и карандаш, он сел на землю спиной к пропасти и написал:

„В комиссию по борьбе с бандитами при Сибревкоме.

## РАПОРТ

начальника карательной экспедиции Сыроварова.

„Банду Авсценки ликвидировать не удалось. До 22-го апреля он уклонялся от боя и кружил по тайге: четыре раза мы настигали его, и четыре раза он уходил от нас невредимым. Причина — отличное знакомство хунхузов, составляющих большинство его банды, с этим пустынным и диким краем. В ночь с 21-го на 22-е на соединение с Авсценкой пришел прибывший из Китая белогвардейский саперный тянь-шаньский полк. Недоумеваю: кто и как пропустил его через Амур? 22-го соединенными силами (всего около тысячи человек, хорошо вооруженных), вдвое превышающими нас, они врасплох напали на нас. Восемь дней под непрерывным огнем отступали мы через тайгу. За это время наши потери огромны: людьми — 99 человек, лошадьми — 118 (лошади не все убиты неприятелем, многих застрелили мы сами, потому что с провиантом у нас было тухло), амуницией — все, кроме девятнадцати винтовок.

„Сейчас, мы, девятнадцать оставшихся в живых, сидим на восточном уступе горы Ай-Хале. Через десять минут неприятель будет здесь. Патронов у нас нет и дальнейшая оборона невозможна.

„1-го мая 192\* года, в великий праздник пролетариата.

### Сыроваров».

Он перечел все написанное и задумался, посасывая кончик карандаша. И затем приписал: „Прошу, товарищи, отправить мою дочку Лену в Казань к моей сестре. Да не говорите ей ничего — подрастет — сама поймет“.

Затем он тщательно в восемь раз сложил листок и сунул его в жестяную коробку из-под махорки.

— Полкан! — крикнул он, и собака, радостно виляя хвостом, подбежала к нему. Он привязал коробочку к ее ошейнику.

— Слушай, Полкан, — продолжал он, стараясь говорить раздельно и внятно. — Беги сейчас же в город. Ты один можешь принести им весть о нас. Ну, прощай, добрый товарищ. Они тебя там сътно накормят.

Полкан опустил голову, взвизгнул, ткнулся носом Сыроварову в сапоги, поторопливо побежал вниз, ирча свои ободранные бока в кустах.

Теперь оставалось только ждать.

И, чтобы не видеть ползущих вверх по склону врагов — ему надоело это зрелище — Сыроваров лег на спину. Над ним висело красное знамя, сиявшее честною конскою кровью и пробитое несчетным количеством пуль, а над знаменем расправил широкие ветви клена, растущий на узкой каменистой терраске. И в пышиный кленовый шатер медленно опускалось красное вечернее солнце. Он весь стал прозрачным

и волшебным. Каждый зубчатый его листик просвечивал насквозь и наливался оранжевым соком. Тень его быстро росла, нырнула в сумрак долины и через минуту выплыла на соседний еще непотухшей вершине, которая, как сияющий корабль, плыла по морю мрака.

И вдруг — клен зашатался, занескрялся, заселестел каждой веточкой. Казалось, бешеный порыв бури налетел на него. Между тем, густой теплый воздух был тих и совершиенно спокоен.

Что это — сон или бред?

Клен продолжал кипеть, шелестеть и качаться. Потом пригнулся, поник в тень, потух и с трохотом рухнул в пропасть, пролетев широкой дугой над Сыроваровым.

Но чудеса на каменной терраске не прекратились. На том месте, где были корни клена, возникла огромная человечья голова с взлохмаченными огненными волосами и широчайшей рыжей бородицей. Вслед за головой показались плечи, руки, вымазанный желтой глиной пиджак. Чорт возымел, что за гигант! Тень его, как прежде тень дерева, пересекла долину — и снова выплыла, зыблющаяся и ушестеренная, на соседней сияющей вершине.

Вот он, солнцекудрый гигант, широко расставив неуклюжие ноги, выпрямившись во весь рост, стоит на каменной терраске, весь залитый пурпуром. Заходящее солнце осеняет его голову. Он поднимает к солнцу руки, и, колыхая свою безмерную тень, кричит ему дружески-фамильярным тоном, как старому приятелю:

— Здорово! Давно мы с тобой не видались!

Когда запыхавшийся штабс-капитан добежал до уступа, он не нашел там никого. Напрасно рыскал

он по скалам, напрасно кричал своим унтерам, что если они не поймают этих безоружных крамольников, истребивших половину его армии, он прикажет поставить их в палки. Враг его исчез бесследно, словно провалился сквозь землю.

Мы вылезли из своей норы только ночью, когда последние ряды разбойников скрылись в лесу. Сыроваров крепко пожал руку профессора.

— Если бы я верил в чудеса, — сказал он, — я бы считал вас колдуном. Но в чудеса я не верю, и мне приходится признаться, что вы поставили меня втупик. Как вы проделали эту штуку?

Хо-хо-хо! — загрохотал профессор. — Вы все равно не поверите ни одному моему слову. Когда я приеду в Питер... Впрочем, ведь и в Питере никто не поверят...



## СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
Глава I. Профессор Зворыка . . . . .	5
„ II. Обитатель бочки . . . . .	13
„ III. Аполлон Григорьевич Шмербиус . . . . .	22
„ IV. Часы . . . . .	27
„ V. Человек и зверь . . . . .	35
„ VI. Стой! . . . . .	46
„ VII. Один на паровозе . . . . .	52
„ VIII. Шмербиус выпускает когти.—Гляссе . .	57
„ IX. Крест . . . . .	72
„ X. В земные недра . . . . .	87
„ XI. В каменном Лабиринте . . . . .	98
„ XII. Хобот . . . . .	103
„ XIII. Чудовище подземных переходов . . . .	112
„ XIV. Шпилька . . . . .	116
„ XV. Допрос . . . . .	123
„ XVI. В темнице . . . . .	140
„ XVII. С глазу на глаз . . . . .	145

	Стр.
Глава XVIII. Бой у теремных дверей . . . . .	150
„ XIX. Куафер его величества . . . . .	159
„ XX. Тринадцатое апреля . . . . .	171
„ XXI. К небу! К солнцу! . . . . .	178
„ XXII. На приступ . . . . .	187

Цена 1 р. 75 к.

